



Дорога на Стамбул. Первая часть

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Борис Алмазов

18+

Борис Алмазов

Дорога на Стамбул. Первая часть

«Автор»

2023

Алмазов Б. А.

Дорога на Стамбул. Первая часть / Б. А. Алмазов — «Автор»,
2023

Исторический роман-хроника о русско-турецкой войне 1877-78 гг. Главный герой - донской казак Донского №23 казачьего полка. Все герои романа имеют конкретных исторических прототипов. Художественное повествование сопровождается подлинными документами. Первая часть.

© Алмазов Б. А., 2023

© Автор, 2023

Содержание

Глава первая. Слобода Жулановка. 14 сентября 1876 г.	6
Документы	15
ДОКУМЕНТЫ	33
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Борис Алмазов

Дорога на Стамбул. Первая часть

„Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщать их всех к себе во едино в вести их, в согласном хоре к окончательной цели всем им предназначенной».

«Такая вера в себя не безнравственна и вовсе не пошлое самохвальство.....пусть есть народы благоразумные, честные и умеренные, спокойные, без всяких порывов торговцы и кораблестроители, живущие богато и с чрезвычайною опрятностью; ну, и Бог с ними, все же далеко они не пойдут; это непременно выйдет середина, которая ничего не сослужит человечеству, этой энергии в них нет, трех этих шевелящихся китов под ними нет, на которых стоят все великие народы. Вера в то, что хочешь и можешь сказать последнее слово миру, что обновишь, наконец, его избытком живой силы своей, вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажды служения человечеству – нет, такая вера есть залог самой высшей жизни наций и только ею они и принесут всю ту часть жизненной силы своей и органической идеи своей, которую предназначено им самой природой, для создания их, уделит в наследство грядущему человечеству. Только сильная такой верой нация и имеет право на высшую жизнь.»
Ф.М. Достоевский «Дневник писателя за 1877 г.»

Глава первая. Слобода Жулановка. 14 сентября 1876 г.

1. Еще там, на станции, едва распростившись с попутчиками, нагрузив мелкий багаж на бричку, договорившись насчет доставки в слободу вагона с товаром, следовавшим малой скоростью, и угнездившись по-молодому верхом на беговых дрожках, Демьян Васильевич услышал шепоток старшего приказчика и ахнул:

– Кто? Кто напаскудил?!

И, наливаясь лютым бешенством, так погнал рысака, что притулившийся за спиной хозяина козлобородый и почтенный Никодим Маркелыч света белого не взвидел, возлетая на ухабах чуть ли не под небеса, едва не становясь на руки, намертво вцепившиеся в сиденье, и лязгая зубами.

– Не... Не... Известно-с...

– Ах вы, сукины дети!.. Аспиды! Язви вас в корень! В душу вашу богомерзкую! Убили! Изверги! Вся репутация псу под хвост! Ах вы, христопродавцы!.. Душегубы!.. – кричал он, наяривая ополоумевшего, готового понести коня кнутом.

– Я и так здесь как бельмо в глазу! Ни роду ни племени! Свои колют – шашку на аршин променял. А сквалыги слободские только и знают на меня клеветы возводить! Только и мостятся сковырнуть меня! Разорить! Я один, яко кедр ливанский среди долины ровныя! А вы гады низменные! Кобели похотливые! Ты куда смотрел?!

– Так ведь баба... – блеял старший приказчик. – Баба – известное дело, выйдет курочек покликать... и то...

– А уж не ты ли сам, козел тверской?! – оборотив на приказчика вывороченный, в кровавых прожилках ярости белок, рыкнул хозяин.

– Бог с вами! Демьян Васильич! – простонал приказчик. – Мы – старики-с... Уж и про стыдное дело не помним-с! Нам об Страшном Суде думать!

– Черт те разберет! – ожигая рысака по обозначившимся ребрам, грохотал хозяин. – Много ль ты меня старше?! Тпру... – И откинувшись всем корпусом, чуть не валя коня на спину: – Стый! Кто знает?

– Никто! – задыхаясь в облаке поднятой пыли, забормотал Никодим. – Никто, благодетель! Как дело явилось – мигом мальчишек в чулан, ворота на запор и собак... собак спустили! Ни одна живая душа! Домна Платонна сами-с прислугу допрашивают! Аграфену то есть!

– А торговля как же?

– Закрылись!.. Мол, хозяина ждем с наилучшим товаром!

– Ах... – застонал Демьян Васильевич. – Убытки! Убытки! А по станицам?

– Что ж по станицам? Мы с ними сношений не имели-с! И не ведает никто!

– Да как не ведает! Шила в мешке не утаишь... – стонал, подобно раненому льву, хозяин. – Дойдет до атамана – он меня вида лишит! И то все грозитя: «Смотри, Демьян, верну тебя в первобытное состояние!»

– Демьян Васильич! – отдышавшись, сказал старший приказчик. – Да что вам атаман?! Плюнуть и позабыть! Вышли бы в гильдию!

– Ты кому говоришь! Ты кого наставляешь! – рявкнул Демьян. – Ты меня с кацапами вашими равнять вздумал? Чтобы я казачество на купецкую бляху сменял?

Но Никодим Маркелыч не испугался ни рыку, ни крику, разговор этот велся не впервые...

Высоко в небе журчал-заливался жаворонок, и словно от его песни рождался в жарком воздухе прохладный ласковый ветерок: веял в разгоряченное лицо, пьянил родным радостным запахом степных ароматов – донником, полынью... Утешал, успокаивал душу.

– А земля? – совсем уж другим голосом сказал хозяин. – Торговое дело – сам знаешь: сегодня с мошной, а завтра с сумой! А так у меня три пая... Разорился – зараз на баркас и в область Войска Донского... А с Дона выдачи нет! Поймай меня там!

– Потому вам от фабрикантов и кредитов настоящих нет, – съязвил старикан-приказчик.

– Что я перед ними в лампасах хожу?

– Демьян Васильич! Благодетель! Не льстите мечтанием! Да они про всю вашу родню до седьмого колена, про родственников и свойственников давно справки навели! Да нешто сурьезный кредитор доверится сумнительному хозяину?

– А мне кредиторы не надобны, я завсегда в наличности.

– До великого часа! До великого! – сказал поднаторевший в делах и весьма осведомленный приказчик. – Нонече такие времена, что нужно все менять! Деда наши, прадеды в кубышку копили и тем капитал приращивали, а ноне, что не в обороте – как в песок уходит!

– Ну, положим, мой-то дед, прадед, кроме пики да шашки, никаких капиталов не имели! – ухмыльнулся торговый казак. – Вот их честное имя и есть мой первейший капитал. Ради них я на Дону первый!

– Пока, конечно, рынок есть! – согласился Никодим Маркелыч. – Однако начнись настоящая конкуренция – вам несдобровать! Разорят.

– Кто?!

– Да любой и каждый! Хоть с Малороссии, хоть из России!

– Да их на Дон ежели и пустят, так на полдня – семечками торговать!

– Не токмо пустят, а и в ноги поклонятся! Особливо как пойдет у них товар дешевле вашего!

– С чего это дешевле? Себе в убыток?! – прищурился казак.

– Спервоначалу! Они свое потом стократ вернут, когда все ваши пункты прикарманят...

Этот давний тяжелый разговор шевельнул больную струну в душе Демьяна Васильевича. Давно цепким своим умом понимал он, что недолго предстоит ему монопольно держать кожевную торговлю на Верхнем Дону. Случись какому изменению – нахлынут купцы из России и тогда конец его процветанию.

Однако сейчас, пока гром не грянул, выгоднее ему числиться в казаках, не платить податей и налогов и торговать на правах своего! Была и еще одна страшная тяжесть, которая висела над головою каждого казака, готовая в каждую минуту сорваться и, как горный обвал, смести все – достаток, планы, мечтания... – служба.

Сам-то Калмыков отслужил давно, а вот сыновья! За сынов у Демьяна Васильевича болело сердце. Васятка еще мал, а Никите через год предстояло встать в строевое стремечко. Каково это ему, воспитанному в чистых купеческих покоех, на господский манер, окончившему коммерческое училище, будет ломать хребет на царевой службе? Ему, отроду не казак-вавшему в седле, махать шашкой и колоть пикой на строевом плацу?

Как ни странно, а именно это обстоятельство заставляло Калмыкова держаться за свое войсковое сословие. После военной реформы, когда была объявлена всеобщая воинская повинность, согласно закону надлежало служить всем сословиям, в том числе и купцам, и дворянам, и всем подданным Российской империи, и Калмыков понимал, что в монолите губернского купечества ему – без году неделя принявшемуся торговать – щель, в которой можно было бы укрыть сыновнюю головушку, не найти. В казачестве же он нашел бы выход, где таской, где смазкой найдя способ вывести сына если не сразу на льготу, то на службу в местные команды. Это только считалось, что казаки служили все поголовно «покуда в силах», как было писано в старинном уложении. Однако, на деле только треть тянула четыре года лямку в очередных казачьих полках, остальные хотя и знали воинское дело досконально, но, бывало, что и ограничивались сборами, обучением в местной подготовительной команде. Сие, разумеется, стоило

денег: кроме подписи атамана нужно было еще согласие станичного круга, где все были равны, однако, шанс не служить или служить легко – был!

– Мой капитал! – сказал приказчику Калмыков. – Честное имя!

И тут же вспомнил про скандал, причиной коему была Аграфена.

– Ох! – застонал он опять. – Убили! Зарезали! Погубила меня энта потаскуха. Что делать?

– А ничего! – спокойно сказал, снимая с белоснежной, расчесанной на прямой пробор раскольничьей головы картуз, приказчик.

– Как ничего?!

– Очень просто-с! Спервоначала допытаем – кто! Ежели холостой и наш, женим и грех прикроем! А ежели нет – Аграфену на хутор, а то и к матери Манефе в монастырь! С глаз подале. Вывезем седни ночью, так упакуем – ни одна собака не дознается!

– Эх! – крикнул казак. – Не по душе! Не по душе мне это!

Однако в слободу въехал уже со всем степенством, дождавшись бричку с образцами и тюками французской мануфактуры. Ехал по центральной улице избоченясь, будто на коне, одной рукой держа заказные английские вожжи с латунными дутыми галунами. Неторопливо последовал в лавку. Разгрузился. Усадил Никодима за кассу и только тогда на негнущихся ногах, тяжело вдавливая каблуки фасонных лаковых сапог в мягкую землю улицы, пошел домой.

При его появлении ветер страха прошелестел по комнатам, сдул с лавок томившихся четверых приказчиков и заставил их вытянуться перед хозяином.

Тучей навис над ними Демьян Васильевич. Грозой сверкали его бешеные глаза, и уж совсем разбойно серьга в левом ухе.

– Кто? – спросил он и почувствовал, что вал ярости снова накатывает на него, как там, в степи, и сейчас он пойдет крушить и эти вытянутые в страхе лица, и мебель, и все, что ни станет у него на пути.

– Не мы-с! – прошелестели брехуны и прости-бестии приказчики.

Где работники?

Таковые явились в страхе и трепете.

– Не мы-с... Как перед Богом...

– Привесть Аграфену! – И было сам метнулся к двери стряпухиной каморки, но оттуда навстречу ему нерушимой стеной выступила Домна Платонна.

– Шел бы ты по своим делам, Демьян Васильевич, – сказала она, будто ушат воды на него вылила. – И что ж это ты, не поздравствовавшись, не умывшись, допросы чинишь! Да и статочное ли дело мужчине в таком копаться! Вот перед иконой! – сказала она, выходя на середину комнаты, именуемой зало. – Перед Спасом всемогущим за всех ребят поручаюсь! – И она осенила себя широким крестом.

– Не виновны-с! – прошелестели мужи, юноши и подростки.

– А ты почем знаешь?! – взвился хозяин.

– Да уж знаю! – отрезала хозяйка и, метнув оборкой на лиловой юбке, пошла на свою половину.

– Ай все ли тут?! – крикнул петушком ей вдогон хозяин. В самую то есть хлопнувшую за ней дверь.

– Осипа нет! – капнул кто-то.

– А где ж он?! – закричал Демьян Васильевич, радуясь возможности спустить скандал на тормозах: чтобы и достоинства не уронить, и форму соблюсти. Был он хозяином крепким, оборотистым и скорым на расправу везде, кроме дома, где рачительно и безраздельно правила Домна Платонна. Правила всевластно, достойно и умело.

– На мельнице Осип... – все так же неизвестно откуда прошелестел шепоток.

– Ах на мельнице! – стараясь не показать, что гнев миновал, и радуясь втайне, что можно улизнуть из гнетущей атмосферы дома, притопнул высоким каблуком Демьян Васильевич. – Эй, кто там! Ваську в бричку! Орлик сморился совсем!

Приказчики мышами из снопа метнулись по работам, а те, кому надлежало, уже выводили из конюшни застоявшегося Ваську, который храпел и косился на дрожки.

– Ты что удумал? – спросила, выходя на крыльцо, Домна Платонна. – Ты что же это на Осипа гресишь? Да я за него больше, чем за дочерей своих, поручаюсь!

– Грех да беда на кого не живет, – для порядка пробормотал Калмыков. – К тому ж и на мельницу надо!

– Ворочайтесь скорейча! – приказала хозяйка. – Будем баню топить. С дороги-то следует!

– А давно он на мельнице? – спросил Демьян Васильевич работника, устраиваясь на дрожках поудобнее.

– Кто? Осип-то? – переспросил здоровенный рябой работник. – Да вроде как третьего дня поехал... Верно. Третьего дня... Нонече у нас пятница, а вчера, стало быть, четверг...

Хозяин не стал дожидаться окончания календарных выкладок и тронул со двора, оставив работника посреди широкого двора в страшном умственном напряжении. Он загибал пальцы. Чесал в затылке. Крутил виски и все повторял:

– Нонеча у нас пятница, а надясь, стало быть, четверг... так в аккурат среда была... Либо нонеча у нас четверг, тады, по всему выходит, вчера, значить, среда...

«Уродит же Господь таковую дубину! – подумал о нем хозяин, но уже совсем без давешней злобы. – Ведь он так посередь двора до ночи считать будет! Вот остолоп-то, прости Господи! С конями – Соломон премудрый, а как начнет что другое соображать, едва рассудка не лишается, до того бывает углублен...»

2. Прикрикнув на рысак, чтоб не баловал, не скакал, подав его длинным заказной работы хлыстом из китового уса, Демьян Васильевич поставил коня на правильную рысь, и молодой, призовых кровей жеребец пошел мерять длинными рычагами ног гулкий широкий большак, неся невесомые дрожки почти без толчков. Версты через три он перегорел, пошел еще ровнее. Казак не стал понукать его и неволить, а распустил английские вожжи, как у заправского наездника, и подставил ветру лицо.

Под гулкий топот копыт Демьян Васильевич не то чтобы успокоился окончательно, но утих сердцем, замороженный мерной ездой и широкой, чуть холмистой степью, медленно поворачивающейся вокруг него.

Она могла показаться унылой кому угодно, только не ему – степняку коренному, родившемуся в этих безлесных, открытых всем ветрам пространствах, где ничто не угнетает глаз, как в море, но и не утомляет его непрерывным волнением, игрою волн или толкотнею солнечных бликов.

Странная сила таилась в этих отлогих увалах, оврагах, в этом синеющем горизонте, нагонявших на чужака, рожденного в иных местах, тоску своим кажущимся однообразием, своею бесконечностью и какой-то первобытной, давящей томительной дикостью. Когда на ум невольно приходят мысли об одиночестве и заброшенности человека, о его бессилии перед равнодушной природой, неизвестно для чего создавшей этот выжженный солнцем, гудящий под ветром простор...

Но для Калмыкова степь была отеческим домом, пусть давешним, пусть покинутым, но родным и зовущим! Степь тянула его, манила отовсюду, и думалось: нет на планете такого роскошного предела, где можно было бы избавиться от постоянной тягучей тоски по этой серой земле, по этим тощим былинкам, по пескам и ветрам, которые, казалось, не способны были породить не только любовь к себе, но и самую жизнь, пусть даже скудную и ничтожную...

Не случайно пассажиры поездов, что тянулись краем степи из расписной стороны, из жар-птицы России на благоухающий пир Кавказа, задегивали штормы на окнах, резались в карты

или ложились спать, чтобы поскорее проехать эти пустопорожние места. И только, может, один или двое во всем составе среди сотен жующих, храпящих, рассказывающих анекдоты, пьющих коньяк пассажиров не могли оторваться от раскрытых окон, подставляя лицо ветру и жадно ловя только им понятные запахи родной степи.

Но рассказать о степи нельзя, потому как любой рассказ о нарядной, щедрой, благословенной матери нашей так же мертв, как старинная казачья песня, написанная на бумаге...

Калмыков, исколесивший чуть ли не всю европейскую часть империи, бывавший и за границей, знал это очень хорошо. И сейчас по еле уловимым мимолетным признакам он чувствовал, что степь просыпается от летнего душного забытья и что через несколько дней грянет ее осенний расцвет – недолгий, но прекрасный, щедрый и изобильный, как расцвет женщины после рождения ребенка, когда входит она в главную пору своей жизни, ради которой и явилась на свет.

Еще день-два, и окропленная осенними радужными дождями станет степь изумрудной, жемчужной, тогда воистину не насытится око зрением, а сердце радостью.

Однако видел Калмыков и другое: нетронутой степи остается с каждым днем все меньше. Режет и режет ее безжалостный плуг. И добро бы от нужды, ради хлеба насущного! Режет ради прибыли! Ради сладкого легкого куша, который можно отхватить, сожрать и забыть, где взял! Плуг насиловал степь! Тянул из нее все, чтобы наполнить ненасытную утробу городов, набить тугие кошельки перекупщиков и бросить ее, выпханную, горькую, в проплешинах солончаков, язвах песчаных осыпей и шрамах оврагов, превратив ее в пустыню.

Калмыков знал, что коренные земли Войска Донского выпханы, казачьи паи все ближе и ближе усыхают к тому пределу, за которым бедность. Бедность самая страшная – степная!

А подрядчики, помещики, чиновники и безземельные мужики, толпами валившие в черномоземные края, висели, как собаки на затравленном медведе, на казачьем крае, с каждым годом отхватывая все новые и новые куски. Обращая правдами и неправдами станицы в слободы и города, выводя их в соседние губернии из войскового попечения в полную покорность властям, лишая хоть и урезанных до призрачности, но все же еще хоть в преданиях существующих прав вольности и совета казачьих кругов, где многое решалось всенародно.

Вот и слобода, в которой жительствовавший Калмыков, прежде была станицей, а нынче уже мостилась стать городом, раздувшись как на дрожжах на хлебной и кожевенной торговле. Нельзя сказать, чтобы это обстоятельство особенно огорчало торгового казака, но иногда являлась странная мысль о том, что все идет к концу... к гибели. И гибель эта предрешена не судьбою, но слепотою власть предержащих и властям повинующихся.

Один и тот же страшный сон все чаще виделся ему: будто закладывают в бричку рысака и он – Калмыков – выезжает на улицу, как делает это ежедневно. Выезжает на тракт, что ведет в область Войска Донского, и вот уж Тимофеевский курган, за которым должна бы распахнуться степная благодать во всем великолепии цвета и запаха. Вот он, поворот... И оглобли звонко бьют, будто в крышку гроба, в высоченный забор.

– Как же это! – кричит Демьян Васильевич. И металлический голос ему отвечает:

– Упразднена за ненадобностью!

Сон повторялся все чаще. И стоило Демьяну Васильевичу расстроиться, приболеть – вот он – забор. Забор высотой до небес.

По молодости во сне Калмыков пытался отыскать в заборе край или хотя бы калитку, отломанную доску... Но нынче и во сне знал, что это ночной кошмар, и начинал стонать, ворочаться, чтобы скорее проснуться...

Сон был так реален, что с годами Калмыков стал побаиваться настоящего поворота за Тимофеевским курганом. Бредовая мысль о том, что когда-нибудь он наткнется тут на забор до небес, не давала ему ехать спокойно.

Он невольно проезжал это место шагом. Правда, со стороны бы никто не посмел его упрекнуть, а наоборот, порадовались бы тому, как в общем-то давно живущий вне казачества человек чтит обычай. По преданию, на этом месте отец Ермака провожал его в Сибирский поход, потому и следовало проезжать Тимофеевский курган обнажив голову и поминая всех, кто в дальнем странствии или в ратной службе.

Здесь же торчал столб с надписью «Область Войска Донского» и ядовитой желтой табличкой: «Пребывание лиц неправославного вероисповедания, а также инородцев дозволяется с разрешения войсковой администрации не более 12 часов в дневное время».

Миновав пограничный знак, Калмыков с облегчением надел картуз и тут же увидел казачий разъезд.

Двое: один пожилой седобородый, с испитым лицом старовера-постника, что-то ел, отворачиваясь, из своей посуды, второй, совсем мальчишка, по всему еще не служивший срочную, разговаривал с рослым казакиной, сидевшим на возу с сеном.

Хотел Демьян Васильевич пугнуть служивых – попробовать проскочить мимо разъезда, поскольку стреноженные кони мирно щипали траву в стороне от казаков, и, пока сторожа схватились бы, Калмыков пылил бы далеко... Но вовремя увидел, что чуть дальше, перекрывая проезд, по всем предписаниям устава стоит третий патрульный – конный.

– Здорово дневали, станичники, – одерживая коня, крикнул Калмыков.

– Слава Богу! – с готовностью откликнулся казачонок.

Пожилой наскоро утер губы и подошел к дрожкам:

– Кто таков, по какой надобности?

«Ишь ты! – удивился Демьян Васильевич такой официальности. – Молодого, что ли, обучает?»

– Да что ты, Антипа! – закричал с воза проезжий казачина. – Это ж Демьян Васильич. Первейший человек в округе. Эх ты! Тетеха!

– Ну ты! – цыкнул на него старовер. – Думаешь, рожу выскоблил, так умнее всех стал?! Вот крикнут «Сполох», тыды будешь неделю объяснять, кто ты, а кто этот твой «Васильич».

– Эээээх! Колода ты кержацкая! – сказал казачина, съезжая на задку со снопов на землю. – Ты в чьих сапогах ходишь?

Калмыков невольно глянул на кержацкие сапоги, судя по грубой работе, домашнего рукоделия и засмеялся:

– Он в своих щеголяет! Своего ремесла.

– Ну! – оскалился весело казачина. – В таких-то только кизяки топтать!

– Спасибо не в лаптях! – подхихикнул казачонок.

Но старовер нисколько не смутился.

– Пропуск знаешь? А то зараз проваливай в своих фасонных!

– Нешто карантин? – забеспокоился Калмыков. – Холера?

– Может, и карантин.

– На Волге? В Царицыне аль в Астрахани?

– Да у хамов завсегда холера, – беспечно сказал казачина. – Что ж кажинный раз пикеты выставлять? Это бесприменно кого-то ловят. Кого ловишь, «протопоп Аввакум»?

– Вошь! – мрачно обронил тот. – Пропуск! Абы поворачивай оглобли!

– Да нешто ты Демьяна Васильича не знаешь! – взвился казачина. – Да в твоей станице его лавка!

– Пропуск али тугамент! – уперся пикетчик.

– Вот пень еланский! Да меня ты знаешь аль нет? – возмущался казачина.

– Тебя знаю!

– Ты свиной матери племянник, – подхихикнул казачонок, решивший теперь подольститься к своему командиру.

– Вот я те шмякну по суслам, сопля нестроевая! Разговорился! Ты ишо у матери титьку искал, а я уж погоны таскал!

– Тебя знаю, а его нет! – уперся старший разъезда.

– Так вот я же тебе докладую: это есть Демьян Васильич Калмыков! Казак по торговой части!

– А коли так, – придумал коварный раскольник, – нехай он скажет, кто ты!

– Вот нова цацка! – плюнул с досады казачина. – Да как он скажет, ежели видел меня последний раз годов пять назад. Аккурат таким стригуном, как вот этот байстриук!

– Но-но! – пискнул казачонок, грозно опуская пику, за которую держался, как за телеграфный столб. Не по руке она была. Тяжеловата.

– Тю! – прищурил соколиный глаз Калмыков. – А не Кудинов ли ты Санька! Ну, Хрисанф то есть! Вы с Осипом вместе служить уходили!

– Как есть – он самый! – засиял крепкими, как кукурузные зерна, зубами казачина. – Как изволите здравствовать, Демьян Васильич?

– Бог грехам терпит. Ты-то как, односум?

– Как собачий хвост. Батяня на другой день, как со службы я пришел, загнал меня в степь, тамо и болтаюсь!

– Через чего ж так?

– Да гуторит: «Мы сами в столицах служили, помним, каки там мамзели распрекрасные... Поживи в степу, охолонь. Заодно посмотрим, не добыл ли ты каку ни на есть французску себе прелесть. Тогда моли Бога, ежели живой уйдешь. А ежели все в достоинстве, мы тебе покуда невесту приищем».

– Отец-то поумнее тебя будет, – одобрительно сказал кержак.

– Да! Не без смысла! – согласился Калмыков. – Ты ведь, я чаю, до службы жениться мостился? Отец не дал, – сказал он, припоминая, что Кудиновы казаки зажиточные, сыновьями дорожили. Держали их в строгости и женили поздно, предпочитая для работы брать батрачек, чем грузить всю тяготу на своих. – И ты не ярись! На таких, как твой отец, казачество держится. А что в степь погнал – так эдак завсегда делалось, ежели кто холостой служил.

– А женатые по этой части заговоренные! – съязвил Хрисанф. – У них, значит, узлом завязано!

– Женатый – ломоть отрезанный. А ты покудова в отцовской власти!

– Я гвардейского полка урядник! – взбеленился Хрисанф.

– Ты царю – урядник, а отцу – раб! – как чугунную плиту положил Калмыков. – Терпи! Опосля благодарить будешь!

– Да скушно в степу-то! Одни бараны да вот таки фрукты, – кивнул на раскольника Кудинов. – Их хошь вверх ногами поставь – одна картина будет! Небось вы своо Осипа в степь не погнали!

– Я ему не отец и не крестный! Акромя того, он не из ухарей – суприза не принесет.

– Да он и жениться-то не собирается! – сказал вдруг кержак, и Демьян Васильевич прямо-таки растерялся: оказывается, раскольник-собака не то что узнал Калмыкова, а и дела-то все его досконально ведал, а вот поди ж ты какую комедию учинил.

– Это я слышал, – подтвердил Хрисанф. – Он ишо об том годе, когда к нам в полк приезжал, об том гутарил: не хочу, грит, сирот оставлять! Я, грит, на войну решённый! Он и в Славянский ихний комитет бегал, да только его тамотки под локотки завернули! Там нижние чины не требуются, там в офицерах нужда.

– А нешто война будет? – неслышно как подъехал третий пикетчик.

– Кака война? – сказал Калмыков. – Болтают, а вы уши развесили!

– А на Кавказе? – встрял казачонок.

– А мы тут при чем? – окрысился Хрисанф. – Тамотки своих два войска! Кубанцы да терцы. Вот нехай и разбираются. А мы на Тихом Дону! Они – себе, а мы – себе! Чего мы на Кавказе забыли?

– А это не твою распрекрасного ума дело! – зло сказал кержак. – Ты присягал ай нет? Не слышу? А вот раз присягал – сполняй в точности, что тебе прикажут командиры! Ишь ты разговорился – туды он не пойдет, сюды не надобно ему! Зараз шумнуть атаману, дак он тебя из казачества мигом направит...

– Да мне-то хучь на войну – только бы отсюдова подале! – сказал Хрисанф, забираясь на свой воз.

И хоть все понимали, что старший разъезда кричит в основном для казачонка, который слушал, вытаращив глаза, все же было как-то неприятно, точно дернул кержак за цепь, которой все они были к своему сословию привязаны. Говорил-то он известные всем вещи, талдычить о которых лишний раз и не стоило.

Однако в его словах была такая страстность, словно он пытался заслониться этой извечной формулой: «Присягал – сполняй!» от чего-то ему самому неясного и неотвратимого.

Схватчивый Демьян Васильевич это мигом почувствовал. Стало быть, и в этой кудлатой голове, набитой древними молитвами, шевелилась тревога. Помнил Калмыков, как он сам, когда конвоировал обозы в осажденный Севастополь и видел неразбериху, путаницу, прямое воровство, обман и глупость, уговаривал себя: «Не наше казачье дело!» Сколько раз кричал он на рядовых, задававших ему, уряднику Войска Донского, неудобные вопросы: «Ты присягал ай нет?!» Как будто этим криком можно было заглушить собственные обиды и сомнения.

Ему показалось, что все разрешилось, когда в станичной церкви был прочитан манифест об освобождении крестьян, о даровании народу воли! На мгновение все стало ясно – вот где была беда, вот где таились разорение и гибель русской державы и войска. Вот она язва вековая! Так вот не будет ее вовеки отныне в единой и неделимой!

Он в ту пору только начинал свое дело, и деньги плыли в его руки так, что он сам поражался, еще не привыкнув к барышам. Он еще только познавал премудрости торговли: помогли железное здоровье, не обремененная лишними знаниями голова и гибкая совесть. Да еще мертвая армейская хватка, с которой он брался за любое дело!

Сегодня он понимал, что одних его способностей было маловато для нынешнего его достатка. Что будь он хоть семи пядей во лбу, а выше головы бы не прыгнул, не случись все так одно к другому: выгодная женитьба на купеческой дочери и реформа, которая не только развязала ему руки, но и наполнила мастерские фабрики тысячами новых рабочих, что день и ночь тачали продукцию...

Освоившись в деле и приняв его в свои руки после смерти тестя, Калмыков почувствовал силу.

– Теперь-то что! – кричал он, притопывая фасонными сапогами, в ресторане Благородного собрания, когда ездил в Елец. – Теперь воссияла истина золотая, в псалмах Давида писанная: «Не работаша да не ест!»

И купцы старого завета и молодые, коих становилось все больше, согласно кивали бородами и бритыми, лысыми и стриженными в скобку, а то и завитыми по последней парижской моде головами:

– Так! Истинно так!

Однако дочерей-то норовили выдавать за дворян, не жалея капиталов ради дворянского титула и свобод для внуков.

Но казалось – все! Нет теперь преграды к благоденствию. А вот опять слышен крик: «Ты присягал ай нет?»

И закрадывалось у Демьяна Васильевича леденящее душу подозрение, а уж так ли все прочно в здании его благополучия?! Уж так ли все решила реформа?! Калмыков сам пугался

этих мыслей. Но сколько ни бежал от них, сколько ни молился в минуты бессонницы, которая навещала его все чаще, стараясь отогнать страхи и сомнения, они не исчезали.

Но более всего вызывали в нем смутную, пока не выразимую словами тревогу всеобщие разговоры о войне. Пугала всеобщая в тех разговорах согласность, что война нужна! Что ее желают все!

«Оно конечно! – думал он. – Турки вытворяют с болгарами да сербами такое, что страх и ужас... Газеты об этом только и кричат, но воевать? Проливать допрежь всего свою кровь! Класть свои головы!.. Да и не окажутся ли турки сильнее? Потому как за ними вся Европа и первая – Англия?!»

Документы

«Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства: они только и живут во мне – и коли этому нельзя помочь иначе как войною – ну, так война!»

И. С. Тургенев

«По донским станицам сильное движение в пользу славян: жители жертвуют не только деньгами, но и всем, кто только что может: жертвуют чулки, платки и т. п.»

«Современные известия»

30 сентября 1876 г.

«...Вчера снова 50 офицеров подали прошение главнокомандующему войсками Петербургского военного округа об отпуске их для поступления в сербскую армию... публика позволяла себе резко осуждать правительство по поводу пассивного его отношения к славянскому движению».

Из донесения агента III отделения

Июль 1876 г.

Давно уж миновал Калмыков разъезд, не имевший более повода его задерживать. Да похоже было, что и не знали казаки, кого пускать в область, а кого нет. Скорее, стояли они для формальности – чтобы проезжающим было ясно: здесь не бессмысленная Россия, а Дон! Тут порядок! Закон соблюдается и равен для всех! Хотя все знали, что ни закона тут, ни порядка, как и в иных местах!

Давно уж пылил Демьян Васильевич по бесконечной дороге, а мысли, растревоженные случайным разговором, не утихали.

«И как все сразу в один ком! – думал Калмыков, перебирая вожжи. – Аграфена. Золотая стряпуха, взятая в дом с пятилетнего возраста. Молчальница и молитвенница, ломившая, как мужик, любую работу, безропотно крутившаяся на кухне и во дворе, кормившая всю ораву мужиков-приказчиков, работников, мальчишек... Которая и в погребницу-то шла, опустив глаза, – вдруг родила ребенка неизвестно от кого!»

Родила ночью, тайно, без единого крика, так что и спавшие вповалку на полу в соседней комнате приказчики ничего не слышали. И ежели не стали бы старуха Марковна да Гулька-татарка мотаться с кровавым бельем, так никто бы и не догадался!

Тут еще Никодим со своей вечной песней – вступай в гильдию! А как с таким позором? Но главной пугающей неотвратимостью была всплывающая как грозовая туча над степью – грядущая война!

И в том, что хозяин, не помывшись, не выпив чаю, погнал на мельницу, виделась эта тревога. Один человек, с которым мог посоветоваться Калмыков, потому как приказчикам всех рангов не доверял, был недавно вернувшийся со службы Осип, живший в доме Калмыкова чуть не с рождения неизвестно в каком чине.

Жалованье ему платили как работнику, но он все до копеечки отсылал матери в хутор. На службу его снаряжал Демьян Васильевич за свой счет, как сына... Должности же у него никакой не было, а работал он с утра до ночи, заменяя и водовоза, и конюха, и сидельца, и старшего приказчика, смотря по необходимости.

На что сам Калмыков крутился с утра до вечера, а и его превозмогал усердием да трудолюбием Осип. Сколь много делал он для хозяйской пользы, стало ясно на второй день, когда пошел он на службу и все в хозяйстве без него дрогнуло. Сразу застопорились тысячи мелочей: с того, что Домна Платонна не могла сутки сыскать ключи от кладовой, до того, что некому оказалось грузить тюки с товаром на станции.

Этим и объясняли многие особую привязанность хозяина к Осипу, но мало кто ведал о ее причинах. А причины были.

И в том, что сегодня Калмыков услышал, как Осип бегал в Славянский комитет, пытаюсь уйти на войну в Сербию волонтером, для него не было неожиданности! Стало быть, пошел он в своего отца, в Алексея Зеленова, которого никогда не видал. Пос

кольку умер Алексей, когда Осипу едва минул год, да и умер-то вдали от родного угла! «Вот оно как родство сказалося!» – подумал Демьян Васильевич, спускаясь с высокого берега мелкой ласковой Собени, что неторопливо гладила своими шелковыми водами меловые откосы.

Влагодой и свежестью тянуло от ее заросшего густым красноталом низового берега. Круглые листья кувшинок и лилий совершенно закрывали ее тихие заводи. И хоть была в этом месте Собень осенью курам по колено, рыбы в ней плескалось – пропасть! А раков... Сколько же здесь под берегами сидело раков!

Демьян Васильевич подтянул уже совсем разморенного жарой коня, подобрал его и повел ходкой рысью в сторону гудевшей за речным поворотом, над черным омутом, водяной мельницы. Где огромные колеса, безостановочно вращаясь, поскрипывая и шумя водяными потоками, тащили на каждой позеленевшей водорослями лопасти густые серебряные бороды мелких струек, где вода кипела бурунами и далеко по пруду катились постоянные суматошные волны.

3. Калмыков объехал мельницу кругом, чтобы поставить дрожки во дворе, но мельничный двор был весь забит телегами, лошадьми и волами. Торопливо мололи хлеб нового урожая. На телегах с мешками зерна торжественно восседали принаряженные бабы, лузгали семечки, обменивались новостями, следили за очередью. Мужчины курили в тишке, чтобы не наделать пожара.

Среди них особенно четко виделось извечное разделение области Войска Донского: синие мундирами и тужурками, сгрудившись в кружок, толковали казаки, артель иногородних мужиков в черных пиджаках и коричневых армяках торчала поодаль и уж совсем в стороне отдельно сидели и лежали на траве хохлы, в белых посконных штанах, мерлушковых шапках или соломенных широкополых брылях.

Казаки переговаривались громко, пересмеивались, хохотали, хлопая себя ладонями по ляжкам, поигрывали нагайками, что неизменно болтались на левой или на правой руке, из-под расстегнутых мундиров виднелись красные, розовые или голубые рубахи. Крутя из газеты сигарки, шурясь от самосада, переговаривались мужики. Неторопливо ковыряя кнутовищами землю, балакали хохлы. Урядник и два дежурных казака, в полной форме, затянутые ремнями, при револьверах и шашках, устроившись в тени забора, присматривали за порядком. Мельница была казенная – войсковая и славилась строгой военной деловитостью, с которой мололи, отмеряли и отгружали муку. Войсковой писарь, совсем мальчишка, но уже в погонах урядника и строевой фуражке, с отсутствующим лицом ходил по мельничному двору, считал на возах мешки. Он же принимал плату за помол зерном или деньгами.

Через дорогу, на расстоянии, недоступном огню, тянулись кирпичные амбары войсковой ссыпки. И там тоже стояли телеги, кони, волы с возами и теснились под навесами мешки с зерном.

Казаки увидели Калмыкова, заулыбались ему как своему, признанному, стали прикладывать крепкие коричневые мозолистые ладони к фуражкам: гвардейским фасонистым, армейским и уж совсем невообразимым, потерявшим всякую форму, но тем не менее всегда с красным околышем, зачастую вновь пришитым.

Вежливо приподнимали картузы и мужики, и только хохлы смотрели на Демьяна Васильевича равнодушно, как волы, словно и не узнавали.

«Вот ведь народ какой! – досадливо подумал Калмыков. – Будто и не видят!»

– Это по какой же надобности к нам припожаловали? – радушно улыбаясь, спросил его дежурный урядник.

– Осипа моего не видали?

– Как не видать! Он тут все утро листок вслух читал! Про турок то есть! Как они, значит, нашего брата болгарина истязают! Страх и ужас! Пишут, после восстания-то ихнего, апрелем-то нонешним, уже тридцать тысяч зарезали! Вон все казаки в рассуждении, да и мужики тоже... – сказал словоохотливый рыжеусый урядник.

– Ну и как? – неожиданно для себя спросил Демьян Васильевич. – Как выходит: будет война или нет?

– Черт его знает! – сядясь на калмыковские дрожки и готовясь к долгому обстоятельному рассуждению, сказал дежурный. – По газетам – туман... Однако мое мнение – беспрерывно будет!

– Это через чего ж так выходит?

– Да посудите сами! В народе только и разговоров о войне! Атаманство пожертвованиями завалено! Чего только не волокут!

– Ну это еще не факт... – сказал Калмыков.

– А вот и факты: вторую неделю область закрыта! Кордоны понаставлены, пикеты, а распоряжений никаких... Это беспрерывно чтобы народ к дисциплине привести! Опять же летом в лагеря гоняли всех строевых. Всех! И две ревизии по конному составу было! Помяните мое слово, не сегодня завтра «всполох» и всеобщая... Мобилизация то есть!

– Ты уж вывел...

– Помяните мое слово! – приложил растопыренную пятерню к груди урядник. – Чует мое сердце, не сегодня завтра!

– И правильно! – сказал подошедший казак в заплатанных шароварах. – Урожай собрали – можно и повоевать.

– Э... толкуй! – сказал другой. – А дороги? Я в Бессарабии бывал – там через месяц дорог не станет, всю армию в хлябях дорожных потопишь...

– Я к тому, – оправдывался первый, – что ежели воевать, так сейчас, когда в поле работы нет... А то летом абы весной нешто бабам одним управиться?!

– Сильно у начальства об том душа болит! – вздохнул третий. – У их чуть что – «всполох и на конь!». А чем детишков кормить, об том властя не тревожатся...

– Да на что всеобщая-то?! – сказал Демьян Васильевич. – Нешто войска мало? Ну, по крайности, вторую льготу призовут, но всеобщую-то мобилизацию на что?!

– Эх, Демьян Васильич, – принялся рассуждать урядник. – Нонешний момент жизни больших войск требует! Турков как саранчи на зеленях! А за ими англичанка! А тамо и австрияки! Турков-то одних бы давно сковырнули, да вот Европы не дают! Я на них в Севастополе наглядился... Как навалились на нас! Нет уж, нехай лучше всех мобилизуют, чем другой раз такое терпеть...

– Когда ж ты успел? – спросил Калмыков. – Это я, старик, войну очень даже хорошо понял, а ты же меня моложе...

– Охотником! – засмеялся урядник. – Пятнадцати годов на войну сбежал. Ох, и дурак был...

– Навоевался? – в тон ему засмеялся Калмыков.

– Ужас! – крикнул тот, потирая чугунную литую шею.

– Ноне война совсем другая будет! – сказал казак, что сетовал на начальство, которому наплевать на казачий достаток. – Раньше армии воевали, а нонече весь народ поволокут!

– Она каждая война другая, – вздохнул урядник. – И кто скажет, какая она будет?

– Да... – согласился Демьян Васильевич. – Знал бы, где упасть, – соломки б настелил... За конем приглядишь?

– Со всем нашим расположением! – пообещал казак.

– А что ж это, господин урядник, англичане, коли они туркам такие друзья, не запретят им болгар да сербов пластать! Ить тоже хоть и не православные, а христиане?

– И-и, братец ты мой! – отвечал тот. – Англичанка любит чужими руками жар загребать! Ей выгодно, когда другие головы кладут... У ей – барыш!

Калмыков двинулся разыскивать Осипа. Но где он ни ходил, только и было разговоров, что о войне, болгарях, сербах, турках и о неизбежной мобилизации. Везде слышалось одно и то же, точно не существовало теперь ни домашних забот, ни хозяйства, ни цен на хлеб и видов на урожай...

И, словно по его мыслям, он вдруг услышал знакомый голос:

«Кому и до чего нет дела —

О том толкует он охотнее всего:

„Что будет с Индией? Когда и отчего?“

Глядишь, у самого – деревня между глаз сгорела...»

Калмыков оглянулся. Старый генерал Ястребов, с долговязым длиннлицым сыном в погонах есаула, стоял, опираясь на палку, и посмеивался в седые усы.

«Это за чем же тут их превосходительство приперлось?» – подумал Демьян Васильевич, почтительно и любезно кланяясь Ястребовым – самой богатой семье края.

Заведующий мельницей бежал уже им навстречу, на ходу застегивая мундир.

– Здравия желаю, ваше превосходительство...

– Здравствуй, голубчик... А скажи-ка мне, братец...

«Зачем он приехал? – размышлял Калмыков, разглядывая чуть не в упор поджарого, с продавленной грудью старого генерала и такого же тощего, похожего на отца, как вновь отчеканенный пятак на старую монету, сына. – Батюшки! – поразился он догадкой. – Да что тут думать – война! Господин генерал войной озаботился! Не иначе как вне очереди привез зерно свое молотить или перекупать приехал! Не зря ходят слухи, что берет он подряды на армейские поставки. И хоть вроде бы это несовместно с его дворянским генеральским гонором, а слухи-то зря не появятся!»

Однако сколько ни всматривался Демьян Васильевич в сухие ястребиные черты старого вояки, сколько ни прислушивался к его старчески невнятной речи, а ничего особенного услышать не мог. Выходило: ехал генерал-помещик мимо, завернул посмотреть по обязанности чина, все ли в порядке на войсковой мельнице.

«Шалишь, брат! – подумал Калмыков. – Нагляделся я на вас. По долгу службы ты и через губу не переплюнешь... Я своих казачьих дворян очень хорошо знаю! Вы – народ цепкий. У вас – земля. Так что, покуда русский барин развернется да отвыкнет от дармовых харчей, вы сто раз обернетесь и вывернетесь... Вы и полвека назад жили, как только сейчас начинают на Руси жить большие-то люди... Кабы посмотреть, что там у вас в Азово-Донском банке, – многое бы открылось!»

Не то чтобы Демьян Васильевич осуждал генерала-помещика. Нет! Наоборот! Он даже восхищался его умением так небрежно, так свысока, как бы поддаваясь просьбам других, снисходить до брэнной действительности и ворочать тысячами, если не сотнями тысяч!

Но сильнее этого восхищения была ненависть! Давняя, затаенная, от юности идущая и потому неистребимая. Помнил Дёмка Калмыков другого Ястребова – драгунского тогда еще капитана, когда приводил он Зароков хутор – родной хутор Демьяна Васильевича в повиновение властям. Помнит Демьян Васильевич и барабаны, и кровь на шпирцрутенах, и те мелкие шарики, что помутнели, закатанные в пыли, после того как покидали поротых на телеги...

Сколько раз всматривался Демьян Васильевич в лицо старого генерала – а он помнит ли? Не гложет его совесть? Узнает ли он в именитом купце волчонка, которого держали за руки солдаты, чтобы не кинулся он врагам своим в горло...

Поседел его превосходительство, поседел, высох... Однако же не от угрызений совести – от старости, наступившей за его долгой и сытой жизнью... И его горделивая осанка, его профиль рождали в душе Калмыкова сомнение: «Господи, а где же отмщение Твое? Что же Ты ждешь, не воздавая коемуждо по делам его?»

И пугался этих мыслей казак. Но память возвращала его к ним. А вот теперь, пожалуй, будут они мучить и Осипа. Беспременно как рассказал ему кто-то о «зеленой улице»! Осип, Осип, что тебя ждет?!

– Осипа моего не видели? Где Осип? – пытал Калмыков у встречающих. Но иные не знали никакого Осипа, а по словам других выходило, что он везде:

«Вот только что, только был тут». А народу на мельнице было, что называется, «нетолченая труба».

«Да что ж я выспрашиваю! – опомнился Калмыков. – Какая сейчас самая тяжелая работа – там и Осип». Он даже засмеялся своей догадке, хотя, по совести, настроение его к веселию не располагало. Может, потому и не послал он кого-либо на самый верх мельницы, куда скрипучие блоки тянули мешки с зерном, а полез по крутой лестнице, мимо грохочущих жерновов, мимо колотящегося, словно живого, мельничного нутра, сам... Здесь он и увидел своего не то работника, не то приемыша. Навалась широкой грудью на рычаг ворота, Осип с другими рабочими медленно и натужно ходил вокруг лебедки. Канат гудел и подрагивал, мелкая мучная пыль плясала в лучах солнца, пробивавшихся сквозь щелястые мельничные стены. Плавала в воздухе. И оттого густо припорошенные ею фигуры, то утопавшие в черной чердачной тени, то выплывающие на яркий солнечный свет, казались совсем нереальными, пришедшими из какого-то другого мира.

Медленно, торжественно открылись створки люка, оттуда с плавной неотвратимостью выплыли десять пятипудовых мешков пшеницы. Покачиваясь и тихо кружась, они ползли все выше, выше, пока не остановилась лебедка, и Осип (конечно же Осип! Будто на мельнице не было своих рабочих), босой, без рубахи, блестящий от пота и словно кованный из красной меди, цапнул страшный груз жилистыми хваткими руками и, натужась, поволок его от люка.

– Опускай! – крикнул он звонко.

Рабочие подали полкруга назад, и мешки грузно опустились на застонавшие, прогнувшиеся полы. Ни минуты не останавливаясь, чтобы хоть пот отереть, Осип отвязал крайний мешок и, легко подхватив его в охапку, понес к засыпному ларю.

«Ну и здоров!» – с восхищением глядя на страшные бугры мышц на Осиповой спине, налившиеся, как у коня, жилы на шее и широченную грудь с крестом, подумал хозяин. И до службы Осип был крепок, но теперь его тело достигло полного расцвета. По тому, как четко рисовались мускулы (как говорят лошадиники, была «отбита мышца», сразу чувствовалось, что перед Демьяном Васильевичем не сильный подросток, но зрелый мужчина. «И баб знает!» – присовокупил для себя Калмыков. Поскольку ведал, что только близость с женщиной, близость полная и наступившая вовремя, ни раньше, ни позже означенного природой для каждого срока, дает такое завершение физическому облику мужчины. И тут же он подумал об Аграфене.

«Да нет! – отмахнулся он от своих мыслей. – Ноне конец сентября, а Осип к Пасхе пришел!» И хоть была она ранняя, а все по срокам не выходило.

– Демьян Васильич! – вскрикнул Осип. И, увидав его лучезарную искреннюю улыбку, Калмыков даже застыдился своих мыслей: «Вот ведь явится така глупость в голову!»

– Ну что! – сказал он, обнимая казака. – На дураках воду возят? Я, чаю, ты и на службе небось при случае норовил не на коне, а коня на себя водрузить, мол, ему, бедному, тяжело...

– Не! – с обожанием глядя на хозяина, отшутился Осип. – Вахмистр не позволял.

Рабочие и те заулыбались, стирая черными руками мучную пудру.

– Вот, только что! – засмеялся хозяин. – И в кого ты у нас такой? Народ норовит свою-то работу на других свалить, а ты все ищешь, за кого бы потрудиться!

– За то его Бог любит! – сказал старый мельник, поднося Осипу ковшик с квасом. – Вона какой статуи!

– Бог дураков любит! – сказал хозяин, с удовольствием глядя, как Осип пьет. – Ну-ка и мне плесни. Уж больно пьет в аппетит!

– На здоровье! На здоровье! – засуетился мельник. – Квас яблочный со льдом. А вот еще извольте грушей закусить. По сухому размоченная...

– Пива! – сказал хозяин. – Пива и раков!

– Не держим!..

– Это к слову, – засмеялся Калмыков. – По мыслям моим! Ладно! Одевайся! Хватит тебе тут ломить! Наше-то смололи?

– Да вот это как раз наше и есть, – сказал Осип. – Вона четыре мешка, которые с меткой.

– Ну погодим, погодим. Кто муку принимает?

– Калистрат и Санька.

– Ну, Калистрату хоть бы хрен узлом вязать, только б не работать!

Мельник достал лукошко с яблоками.

– Вот, ваше благородие, откушайте моего – медовое! Вона на свет все семечки видать.

– Благодарствуй, старик! – сказал купец, звучно откусывая яблоко молодыми, без изъяна зубами.

– Что же касаемо дураков, – сказал старик, – так ведь в народе дураков за глупых не считают!

– То исть? – спросил Калмыков, пытаясь схватить старикову мысль.

Мельник присел на мешок и невесомой, истончившейся от прожитых лет рукою разгладил домотканые штаны на худых ногах.

– Смолоду-то и я себя умным почитал. А состарился и понял, что это не ум был, а грех! Ум-то в простоте! А простой-то всегда дураком мнится!

– Вона как вывел! – засмеялся Калмыков. – Умный, значит, глупый, а дурак – умный!

– Выходит, что так, – надтреснутым голосом сказал старик, моргая часто-часто то ли от мучной пыли, то ли от грохота механизма мельницы.

– Непонятно. – Калмыков развалился на тугих мешках поудобнее.

– Чего ж тут непонятного, – глянув незабудковыми глазами, удивился старик. – Один, к примеру, стяжает, заботится. Идет денно и ночью на все происки ума своего... И все его удаче дивятся. Вот, мол, чего умом своим достиг. И человек ненасытен. А что ненасытность эта от врага человеческого происходит, не задумывается. И мается он в тоске, приращивая одно к другому! Все больше да больше, а и тоска его множится, и страх, кабы все происками ума нажитое не обратилось в пыль... А ум-то в ином!

– Это в чем же?

– Чтобы понять, что душе надобно!

– Слыхали, – протянул хозяин. – Эта песня нам знакомая.

– Обязательно, – согласно кивнул старик. – Тому и Христос учил, и две тыщи лет в церкви каждый день читают, так ведь не слушают и маются... А дело самое простое.

– Дед, а ты часом не молокан? – зло перебил его Калмыков.

– Спаси и помилуй! – перекрестился старик. – Это верно, что ноне их много стало, да еще этих баптистов да духоборов, а только я не знаю греха сего. Я через жизнь свою дошел. Я ведь богатым-то был. Но отрекся, чтобы жить в простоте и ясности. Как твой Осип. Потому он и светел ликом, что ясен душой! Зато и завистников нет...

– Да уж чему завидовать! Ездите тут на нем, как на быке! Пойдем, что ли, «яхонт...»

– Так вот потому он радостен, а ты, сынок, в сомнении! – не унимался старик.

– А ты почему знаешь? – зыркнул на него Демьян Васильевич.

– Дак вижу! – по-детски улынулся старик. – Брось! Не заботься! Ишо в Писании сказано: довольно каждому дню заботы его!

– Эх, дед... – сказал Демьян Васильевич, спускаясь по лестнице. – Воистину мне бы твои заботы!

– Возьми яблочка на дорожку! – крикнул вдогон старик.

– Спасибо! – ответил хозяин. – Угостил уже! До чего я не обожаю таких вот толкующих старичков! Страсть! – сказал он Осипу.

– Скупаться бы! – словно не слыша, ответил казак.

– Дак иди! Покуда еще смелется! Да и наши там есть – погрузят.

– А вы?

– Стар я по омутам скакать!

– Да кто увидит?!

– Нет уж, ступай! Я на бережку посижу!

– Я мигом! Окунусь и обратно, а то весь в муке! Осип бегом припустил к плотине. Калмыков неторопливо, степенно последовал за ним. Когда он вышел на травянистый берег омута, для прочности укрепленный сваями и густо обросший плакучими ивами, мочившими длинные ветки-косы в черной воде, Осип уже отмахивал саженками у другого берега.

Мальчишки, что целый день прыгали в чем мать родила с наклоненного над водою дерева, восторженно дивились, с какой скоростью казак пересек пруд. А Демьян Васильевич, глядя на приемыша, подумал о другом: «Вот ведь со службы пришел. Годами не мальчик, вон кака машина вымахала, а все как есть дите! У других в эту пору по пятеро ребятишек, хозяйство, дом, все мужские заботы, а этот готов с пацанами змеев запускать. А ведь умен. Толков. И все как то не впрок!»

– Демьян Васильич! – крикнул Осип. – Скупайтесь! Вода как мед – пра слово!

От омута так тянуло свежестью, прохладой, а тесная жилетка так теснила дыхание, и мокрый от пота воротник крахмальной рубахи совсем размяк и прилипал к шее...

А тут еще на другом берегу показалась коляска Ястребовых.

– Небось генерал купаться не будут! – зло сказал Калмыков.

– У них в имении пруд с купальней, чего им сюда лезть! – Осип скакал на одной ноге, вытряхивая из уха воду.

– Пруд, говоришь? – рывком сбрасывая пиджак и жилетку, переспросил хозяин. – И купальня, говоришь?

В сподниках, пузом маханул он с берега в омут. Прохладная зеленоватая вода сомкнулась над ним. Калмыков легко, по-молодому нырнул до дна, ухватил в кулак камушек и вылетел на поверхность, фыркая и отдуваясь. Он стонал, хохотал, фыркал... Нырял и плавал на спине, на боку и, уж совсем разнежившись, просто без движения лежал на воде, глядя, как по глубокому уже осеннему синему небу плывут облака.

Вылез он, когда кожа покрылась мурашками. Осип, улыбаясь во всю ширь белозубого рта, под колечками русских усов, держал наготове невесть откуда взявшееся полотенце.

– Ну вот! Ну вот! – приговаривал он, растирая хозяину спину. – В эдакую жару да не скупаться.

Демьян Васильевич лязгал зубами. Они, как мальчишки, присели на корточки на колючей, вытоптанной купальщиками траве.

– Стало быть, на войну собираешься, – сказал Калмыков ни с того ни с сего.

– Благословите! – словно давно этого вопроса дожидался, ответил Осип.

– Я тебе не поп и не отец! – сказал Калмыков. – Ты в своей воле! Чай не мальчик! И через чего ты надумал, чтобы, значит, непременно тебе идти!

– Да уж так случилось! – вздохнул в ответ казак.

Глава вторая. С.-Петербург. Октябрь 1875 г.

1. Сотника очередного полка, в котором служил срочную Зеленов, отправили в Петербург в Управление казачьих войск. Дело, по которому он ехал, было связано с деньгами и потому особо кляузное, из-за чего сотник, хоть и был великий прохиндей, все же решил укрепиться людьми сведущими и честными, которых можно и с поручением послать, и кому секрет доверить. Он прихватил с собою полкового казначея, двух старослужащих писарей и двух молодых казаков, о которых ходила слава как о непьющих, толковых и безупречного поведения. Один из них был Осип.

Нельзя сказать, чтобы большой город испугал степняка. Он бывал по торговым делам с хозяином и в Москве, и в Ярославле, и в иных городах, но северная столица поразила его ранней тьмою вечеров, слякотным бесконечным дождем... Грохотом экипажей на одних улицах и тоскливой пустынностью других, яркими огнями фонарей и глухими, страшными дворами-колодцами.

Разместились они в Казачьих казармах у Александро-Невской лавры. Лихие и языкатые атаманцы, стоявшие там, сначала поддразнивали «армяков», но поскольку казаков, да тем более одного войска, всегда объединяло некое чувство родственности, дружества, старательно подогреваемое обычаями и людьми старших возрастов, то скоро и в Осипе признали своего. Особенно был казакам по сердцу его талант к сочинительству обстоятельных или жалостливых писем. За эту услугу атаманцы не могли нахвалиться Зеленовым, не знали, чем угодить ему и чем потрафить. А угодить было сложно, поскольку парень ни вина, ни водки не пил, табаку не курил, чем снискал уважение казаков-староверов, державшихся даже в этом привилегированном гвардейском полку особняком. Станичники и так и эдак пытались ублажить улыбчивого, но замкнутого парня, пока вдруг не открыли в нем страсть к чтению и театру. Вот тогда и посыпались на Осипа дешевые билеты и контрамарки на галерку.

К его радости, дело в управлении затягивалось, и Зеленов, не обремененный службой, частенько с увольнительной в кармане шел либо в Мариинку, либо в Театр Корша, или в Александринку, где за время жительства в столице успел пересмотреть весь репертуар.

Театр опьянил Осипа. Сидя в душных полутемных коридорах присутствия, где они проводили иногда большую часть дня, пока сотник и полковые писари сновали где-то по канцеляриям, он забывал начисто, где он я зачем сюда пришел. Он мог часами сидеть уставившись в стенку: перед ним раскрывался тяжелый занавес, а там, внизу, поблескивал золотом эполет и белизною женских плеч партер и в темном душноватом воздухе зрительного зала колыхались ароматы французских духов.

Сказочный невероятный мир блистал на сцене всеми переливами правдоподобного вымысла. Горячие чувства, благородные поступки лились тут рекой и совершались десятками, несчастные сироты вдруг оказывались детьми знатных господ, и добродетель всегда торжествовала. Осип, перегнувшись через барьер третьего яруса, ловил каждое слово, что выкрикивали там, на подмостках, герои мелодрам и трагедий.

С галерки все, что совершалось среди холста и картона, казалось невероятным, но более верным, чем жизнь! Истинным! Возвращаясь в казарму, Осип норовил идти темными улицами и переулками. Тут было меньше возможности наскочить на патруль или, позабыв отдать честь офицеру, нарваться на неприятность, а то и на оплеуху, но главное, шагая темными гулками улицами, при тускло-синеватом свете редких фонарей, так легко было переживать заново все, что происходило в пьесе. Так легко было уноситься мыслями далеко от всей этой скучной жизни и, как во сне, воображать себя не то чтобы героем мелодрамы, но человеком загадочным... С темной и романтической судьбой.

Тем более что основания для такого вымысла о самом себе у Осипа были! С того самого раннего возраста, как он себя помнил, его окружала какая-то недосказанность... Мать, которую он видел не чаще двух раз в год, когда ездил на праздники к ней на хутор, никогда не рассказывала ему об отце. Знакомые умолкали и косились на Осипа, когда вдруг в разговоре старших говорилось обиняком о каком-то страшном событии... А то и о двух...

Странно вел себя и Демьян Васильевич, требовавший с Осипа как с батрака, но посылавший его учиться вместе со своими детьми!

Разнообразные мечтания, смутные, но тревожащие и заставляющие замирать сладким предчувствием сердце, давно волновали Осипа. Может, потому так любил он читать, забившись на чердак калмыковского дома... Может быть, поэтому сладкий хмель театра так пьянил его и без того романтическую душу.

Не то чтобы Осип придумал себе какую-то биографию вроде тех, что бывали у героев спектаклей. Но иногда, ворочаясь на казарменных нарах, он вдруг думал со страхом и восторгом: «А может, я дворянин?» – и краснел от этой несбыточной мысли, но отогнать ее не мог. Потому что хоть и не было этому доказательств, но не было и опровержений.

Ему казалось, что все сослуживцы, все эти крепкие лихие чубатые степняки, – совсем не такие, как он!

Дело тут не в образовании... Среди казаков почти не было неграмотных, и многие ходили, как и Осип, четыре зимы в станичную школу. Но Осип видел, как сильно он от них отличается! Отличается всем – интересами, привязанностями и даже тем, что они в двадцать четыре года были уже отцами семейств, матерыми и крепкими хозяевами, а он в душе ощущал себя стригуном-мальчишкой. У них были уже и жены, и «сударки», они рассказывали «такие случаи», от которых Осип, выросший затворником в строгом калмыковском доме, краснел!

«Нет... Я другой...» – шептал он себе. И воображение рисовало ему престарелого родителя, утирающего радостные слезы при нахождении сына, и какую-то другую, чистую и привольную жизнь... С книгами, с театром, с барышнями, что так мало походили на работниц с текстильной фабрики, которые дружились с казаками, плясали с ними на вечеринках кадрили и все такое прочее... О чем, регоча, делились друг с другом доблестные сыны Дона.

Барышни, которые грезились Осипу, шарахались от его папахи, от его широких лампасов...

Они торопливо бежали мимо него по тротуарам центральных улиц, стуча каблучками ботинок, кутаясь в клетчатые пледы и надвинув на лоб круглые шапочки курсисток.

Осипа томило одиночество. А одинок он был как помнил себя. Он был одинок с Демьяном Васильевичем, хотя жаждал прилепиться к нему всем сердцем, всей душой, всей своей безысходной любовью сироты.

Был одинок и с приказчиками, и с работниками, для которых никогда не был своим, поскольку хозяин его выделял. От того, чтобы не стать козлом отпущения, мишенью насмешек, спасал труд. Осип рано понял, что только труд, самый тяжелый и постоянный, – его защита и от людей, и от судьбы, и от одиночества.

В труде постоянном, изматывающем он находил и покой и радость. Но даже ему служба показалась невыносимо тяжелой. Кавалерия, особенно казачья, выделялась среди других родов войск количеством самоубийств дошедших до изнеможения нижних чинов, особенно новобранцев.

Осип же терпел. За приветливость и расторопность, а также за ловкость и силу был скоро отмечен чином приказного.

Но служба не стала ему родной, и среди сослуживцев не избавился он от одиночества.

Вот тогда-то и укрепилось в нем ощущение своей исключительности. А подкрепленное содержанием многочисленных мелодрам, это ощущение выросло почти в уверенность в собственном необыкновенном предназначении, в какой-то неизбежной перемене судьбы, которая

перевернет всю жизнь Осипа... И перемена эта казалась с каждым днем все ближе, все неизбежнее...

Однажды к нему на нары подвалил кто-то из вахмистров и, накрыв лапищей книжку, которую он читал, заговорщицки подмигнул:

– Ну что, односум, во дворец попасть хочешь? «Ваканция» объявилась.

«Ваканция» была довольно скользкая. Один из атаманцев, получив из дому известие, что жена-жалмерка себя не соблюла, – запил горькую! Однополчане жалели его как могли. Прятали от начальства, чистили коня, ввали на поверках, что он болен, ходили за него не в очередь в караул, дожидаясь, когда несчастный односум опомнится, дотерпит до возвращения домой, а уж там произведет расчет по всем правилам с неверной супругой.

И вот вместо обманутого мужа было предложено идти в караул Осипу. И хоть в случае обнаружения подмены ожидалась великая гонка с мордобоем, ежели не что похуже, но уж больно загорелось Зеленову побывать в Зимнем. И случай выходил подходящий: караул ночной, то есть заступали с вечера до утра. Два часа на посту отстоять, а потом можно и по залам походить. Решающим обстоятельством было то, что сотник был новый и своих казаков еще в лица не помнил. Взводный же был рад осуществить такую подмену, потому как такая называемая казаками «школа» в случае удачи придавала ему весу в глазах всего полка.

Двое суток готовили Зеленова в караул. Брили, подстригали, завивали чуб и ушивали на нем мундир по фигуре. К счастью, запивший казак был одного размера с Осипом и работы потребовались минимальные: зашивали мундир не более чем обычно, после того как натягивали его на плечи и расправляли по груди.

– Как есть атаманец! – хвалили Осипову выправку казаки. Однако, рассматривая себя – нового, незнакомого в алом парадном мундире и кивере со шлыком и султаном, нет-нет да и холодел Осип – а ну как все откроется!

– Ведь там и государь, и царедворцы ходят... Заробею!

Но отступать было поздно, и он пошел.

Никогда, даже во сне не виделось ему сразу столько роскоши. Воистину это был дворец властителя великой империи, распространившей пределы свои на полмира. Полуослепший от блеска жирной позолоты, сияния паркета, потрясенный простором залов, обилием картин, мебели, ковров и парадно-торжественною тишиною, которую нарушали только шаги караулов да многочисленные часы, делавшие ее своим тиканьем и боем еще полнее, еще величественнее, Осип как в бреду отстоял два часа при каких-то невероятной высоты дверях.

Никогда он не испытывал такого сознания величия царской власти и собственной гордости оттого, что и он часть этой неизмеримой державы и этого величия.

Сменившись, он повалился в караулке на топчан и заснул как убитый. Разбудил его вахмистр:

– Осип! Зеленов! Ты что, ночевать сюды пришел? Ступай походи по залам!

– Заблужусь! – вскакивая, уверенно сказал казак.

– А вот тебе провожатый.

В караульном помещении, где по топчанам густо храпели атаманцы да тускло поблескивали ружья в отпертой пирамиде, в полумраке Осип не сразу разглядел еще одного человека. Это был высокий худой старик, в белых николаевских штанах со штрипками и старинного кроя темно-зеленом армейском мундире, напоминавшем, скорее, шинель своею длиною и добротностью. Густая завесь крестов, медалей да золотое шитье шевронов на рукаве свидетельствовали, что это старый служака из роты георгиевских кавалеров, безотлучно живших при дворце. Высокий красный воротник мундира подпирал седые расчесанные бакенбарды, делавшие их обладателя похожим на ныне царствующего императора Александра Николаевича (только как бы в глубокой старости). И важен был старый кавалер, как, по Осиповым представлениям, должен был бы быть важен самодержец всея Руси.

– Вот Гаврила Дмитрич тебя по залам поведут. Они сами из казаков происхождения ведут и завсегда к нашему брату донцу снисхождение имеют.

– Век не забуду вашей милости! – поблагодарил Осип, торопливо собираясь за стариком. Георгиевский кавалер взял фонарь и величественно проследовал в темные анфилады второго этажа.

– А царя не беспокоим? – шепнул Осип.

– Государь тут только приемы проводит, а местопроживание имеет в иных местах, – строго сказал старик.

Он показал казаку Военную галерею с героями 1812 года, но из всех портретов Осип ни одного не запомнил. Поразили его ростом и величиною мохнатых шапок стоявшие здесь истуканами на часах дворцовые гренадеры. Потом провел в залы, где стены были увешаны огромными картинами. Осип смутился, увидев обильные женские тела на холстах.

– Рубенс. Преискусный живописец голландский, – бесстрастно пояснял старик. – Сие все живописи на сюжеты мифологические и библейские...

– Неужто сюда и государь заходит? – не удержался Осип.

– Отчего бы ему сюда не заходить?

– Чудно! – признался казак. – Может, оно, конечно, этот Рубенс и преискусный художник, а только смотреть неловко...

Старик с любопытством поднял мохнатые брови на Осипа:

– А я, признаться, только этими картинами вашим жеребцам и потрафляю, иное храбрецы Войска Донского зрят со скукою...

Он провел казака в длинный зал, где из позолоченных и черных рам на него глянули некрасивые, но живые лица. В отблесках фонаря они смотрели на Осипа таинственно и, казалось, скрывали какую-то особую, вечную истину...

Старик отдал Осипу фонарь, а сам Присел отдохнуть на обитую бархатом скамейку. Осип переходил от одного холста к другому. Он не понимал, что изображено на них, но странное чувство какой-то высшей правды, скрытой в этих картинах, рождало в нем ощущение неясной тоски, напоминавшей ту, что рождалась в нем, когда он смотрел на весеннюю степь, освобождавшуюся от снега...

– Сказывают, когда человек умрет – он все знать будет: и что было, и что впредь со всеми нами случится, – сказал он, возвращаясь к старику. – Сдается мне, что энти лица столь много притягательности имеют, что таковым знанием обладают-

– Отчего же ты не спросишь, сколько стоят сии живописи? – со скрытой иронией спросил старик.

– Да нешто это сапоги? – простодушно улыбнулся Осип.

Старик все с большим любопытством рассматривал казака.

– А вот уж я тебе еще покажу! – сказал он, с трудом поднимаясь.

На огромной картине, верх которой терялся в потемках зала, Осипу спервоначалу в глаза кинулись пятки... Пятки и стоптанная туфля, и только потом он разглядел всю фигуру – каторжную, бритоголовую, что припала к старику. Багрово-коричневый цвет картины странно взволновал казака. Он отошел подальше и поднял фонарь над головой.

– Э... Старик-то слепой... – И тут же догадался: – Так ведь это по притче о блудном сыне!

– Точно так! – подтвердил провожатый.

– Но так, да не эдак! Там старший брат возмутился, что ж, мол, этого шаромыжника жалеть... А тут его все жалеют...

– «Истинно, истинно говорю вам, – процитировал старик. – Бог прежде отец ваш, а уж потом судья...»

– Да! – сказал Осип. – Вот эта картина государя достойна. А то понавешали толстомясых – смотреть срамно!

– Сколь тебе еще служить осталось? – с нескрываемой теплотой спросил старик.

– Теперь-то уж немного – меньше года.

– Ну вот, стало быть, скоро к родителям своим припадешь, ты ведь, я чаю, неженатый?

– Эх, Гаврила Дмитрия! – вздохнул казак. – Припадать-то мне не к кому... Отца у меня нет – преставился, когда мне год был. А матушка во втором браке, там и детишек имеют... Я с пяти годову в услужении... И хоть Демьян Васильич, хозяин мой, лучше иного отца для меня, а только вот так-то не припадешь...

– Ты какой станицы? – совсем ласково спросил кавалер.

– Собеновской, – ответил Осип. – Собеновской станицы, Зарокова хутора – так в бумагах пишу... Потому как хутора этого давно, гутарят, нет, а может, и не было никогда. А проживаю в Жулановке – это слобода такая...

– Какого хутора? – переспросил старик, и Осип увидел, как его гладко выбритый подбородок мелко дрожит в кустах седых подусников.

– Зарокова хутора...

– Да ты чей? – перебил его старик.

– Осип сын Алексеев Зеленов. Что с вами, дяденька Гаврила Дмитрич!

Старик повалился на скамейку, хватаясь за сердце.

– Стань к свету! – приказал он. – Сыми кивер! – И совсем уже на выдохе: – Схожжж!

– С кем? – не понял Осип.

– На своего отца схож, на моего крестового брата: Алексея Хрисанфова Зеленова... Вечная ему память... – прошептал старик трясущимися губами. – Ося, сынок, ты меня в первом же увольнении разыщи... – Старик весь обмяк. Утратил костяную нестигаемую выправку и вдруг превратился в немощного инвалида с трясущимися склеротическими руками и слезящимися глазами. – Вот ведь как бывает! Привел Господь Алешиного сынка повидать...

Надо ли говорить, что при первой же возможности Осип птицей кинулся к старику и легко отыскал его на Миллионной, в дворцовой казарме, где старик квартировал в отдельной каморке. Вот там, усевшись без мундира и галстука за самовар, старый кавалер, смахивая слезы, до которых, судя по каменному подбородку и воинским регалиям, был не горазд, рассказал Осипу страшную его родословную и ту смутную тайну, о которой он догадывался с детства, но не мог предположить, о чем она.

После восстания поляков в Киевской, Житомирской, Харьковской и других губерниях осталось много пустующих, вымороченных имений. Владельцы их либо сложили головы в боях с русскими войсками, либо, лишенные прав состояния, были высланы в Сибирь. Их крепостные иные разбежались, а иные прятались по лесам и болотам, ведя партизанскую войну с войсками и постепенно превращаясь в обыкновенных разбойников.

Имения пустовали, и в них решено было разместить военные поселения, перевезя сюда верхнедонских казаков, в частности хутора Зарокова Собеновской станицы.

Гаврила Дмитрич видел в этом особый знак провидения, поскольку именно зароковские казаки особенно отличались в подавлении Польского восстания, а многие вызвались охотою в карательные отряды, что ужаснуло тогдашнее население Верхнего Дона, которое издавна всеми правдами и неправдами почти поголовно отлынивало от полицейской службы.

Военные поселения уже существовали в России, и слава о них была такая, что многие крестьяне и казаки предпочитали им явную уголовную каторгу, где было, по рассказам, легче, чем в поселении.

Примеры, когда казаков делали поселенцами, уже имелись: так поступили с чугуевскими казаками на Украине.

Обсудив все это на хуторском кругу, зароковцы пришли в отчаяние и, пренебрегая присягой, взбунтовались.

Первый отряд драгун, который должен был сопровождать их на новое местожительство, они просто разогнали. Со вторым вступили в настоящее сражение и по малочисленности через три дня его проиграли.

Драгуны окружили хутор и зажгли его! Задохнувшихся, ослепших от ужаса и дыма заровцев согнали на площадь и всех без исключения погнали по «зеленой улице».

Солдаты, потерявшие половину своих однополчан в схватке с казаками, получившие к тому же тройную порцию водки, осатанели. В зачет не шли ни чины, ни георгиевские кресты – от веку избавлявшие кавалеров от телесных наказаний, ни награды за Польский поход, ни возраст, ни даже участие в войне 1812 года.

– Что творили с нами – пересказать невозможно! Вот я в «Русском инвалиде» читаю про то, как турки над славянами зверствуют, так у нас многие не верят... что такое возможно... А я говорю: что турки? Я такое сам видел! Сам! – расплескивая с блюдечка чай, шептал, глядя исплаканным, оловянными глазами куда-то мимо Осипа, Гаврила Дмитрич. – И не турки, а наши, русские! К исходу экзекуции хуторских казачат под вой обезумевших матерей покидали на телеги и развезли под конвоем по гвардейским полкам.

Алексей Зеленов – десяти лет, Демьян Калмыков – двенадцати, Антип Горелый – тринадцати и четырнадцатидетний Гаврила попали в лейб-гвардии Атаманский полк. Полк строгий, поскольку был он гвардейским, столичным, тем более строгим к мальчишкам-казачатам, которым здесь не позволялись даже те мелкие радости, что выпадали на долю их сверстникам-кантонистам в других полках.

Повествуя о горько-сиротском своем детстве, Гаврила Дмитрич, не стыдясь, плакал, утираясь красным фуляровым платком и высмаркивая свой красный же солдатский нос.

Старик перечислял всех своих немногих земляков, что разметала судьба по просторам империи, на Кавказ, в царство Польское и княжество Финляндское... Но Осипу чудилось, что старик чего-то недоговаривает. Он не мог расспросить подробнее – это было бы неучтиво, да и невозможно при тогдашнем его состоянии. Скорее всего сообразил он о недосказанном уже много месяцев спустя, когда вернулся в свой полк. «А что же с моим-то отцом стало? Ведь Гаврила Дмитрич сказал, что и Демьян и Антипа – живы. Почему нет отца?» – думал он позже.

2. Осип загулял. Тосклив и страшен был его загул, не было в нем ни веселья, ни даже пьяной бесшабашности. Он покорно ходил с новыми своими товарищами в рабочие слободки, сидел вместе с ними за столами, пел и плясал под гармонику, пил водку и даже дрался с рабочими, которые сильно не любили казаков (и было за что), потому в слободку на берегу Невы ходили партиями по несколько человек, обязательно вооружась нагайками.

Работницы жили в казармах и небольших домиках, по несколько человек в комнате, вот там-то и гуляли казаки, там и ловили за ситцевыми занавесками «случаи...»

За ситцевой занавеской и проснулся Осип в один из воскресных дней. Похмельная голова гудела, и подкатывала тошнота при каждом движении. Он разобрал ругань и разговор женских визгливых голосов:

– Сволочи кудлатые! Беспременно они украли! Кобели паршивые. Напаскудят да еще и обворуют... – Дальше шла уж вовсе непотребная брань, к которой Осип никак не мог привыкнуть, особенно если ругалась женщина, – делалось ему мутно и тоскливо.

Он поднялся. Отодвинул занавеску. В тесной комнате, разгороженной занавесками на несколько частей, по полу ползала простоволосая баба в юбке и нижней рубаше, ее товарка смеялась, прислонясь к косяку.

– Вона! – сказала она, кивая на Осипа. – Вона кавалер твой поднялся!

– Да черт его принес! Да и не мой он вовсе! – похмельным голосом кричала простоволосая. – Это Томкин хахаль! Она его вчера заволокла...

«Какая Томка?» – подумал Осип, кроме страшной головной боли чувствуя ужасную стыдную гадливость к этим бабам, к этой комнате, к постели, на которой сидел, к гребенке и шпилькам на табуретке у изголовья...

Ему ужасно захотелось вымыться! Или хотя бы искупаться! Чтобы смыть с себя сальный омерзительный пот этой ночи и жирный запах Томкиной не то помады, не то духов.

– Ну что устался! – обернула она к Осипу красное пористое лицо, нисколько не стыдясь своей наготы. – Ваши кобели вчера тут ночевали, мало что перебили да заблевали все – напоследок новы ботинки сволокли.

– Не-е-е, не может быть! – промычал Осип, поражаясь своему совершенно незнакомому голосу.

– Что «не может»? Что «не может»? – завопила баба. – Это всегда ваша казацкая манера напаскудить!

– Ты, бабочка, говори да откусывай! – попытался приструнить ее Осип.

– Чаво? Чаво? – подбоченясь, наступала на него работница. – Таперя ищи ботинки непременно у кабатчика... Сволочи мордастые.

– А где Томка-то? – спросила стоявшая у двери.

– Да вот этому за опохмелочным шкаликом понеслася! Дура! До чего до кобелей жадна, дак смотреть ужась! Навела вчера мазуриков...

Осип встал пошатываясь. Торопливо отыскал шаровары, мундир. Оделся.

– Ежели наши пошутили, – сказал он, выходя из-за занавески, – зараз принесу...

– Как жа! Уж небось пропили мою обувку... – перекладывая свои слова такими визгливыми матюгами, что невозможно было слышать, орала простоволосая.

– Ты бы назад не ходил один-то, – посоветовала, лениво отодвигаясь в дверном проеме и давая Осипу дорогу, ее подруга. – Нонеча воскресенье, все ребята дома – избыют.

– Ишо посмотрим, кто кого, – ответил Осип, понимая, что беспрерывно избыют. Как навалятся скопом... И нагайкой не отмахнешься.

– Не храбрись! – усмехнулась работница. – Двинут под ребра финкой и будешь потом в Неве виноватого искать... Что ж тебя дружки-то одного тут бросили?

– Они-то его искали! – встряла простоволосая. – Да Томка заверила, что, мол, нет его, ушедши... Они же говорят: брезгует малахольный нашим кумпанейством... А он за занавеской уснувши был... Его Томка нипочем до утра отдавать не хотела...

Осип вышел в коридор.

– Эй, казак, – крикнула ему вдогонку работница. – Ступай через огород и переулком мимо фабрики. Там никого не будет – все нынче на сходку пошли к школе.

Зеленов не испытывал судьбу и пошел, как она наказывала. На воздухе ему стало легче. Но неотвязные мысли о своей неприкаянности снова полезли в голову.

«Вот такие „Томки" и есть моя будущая планида! – думал он с тоскою. – А вернусь домой – дома-то что? Так весь век и ломить на хозяина? Земли – всего один пай, отчим не казак, а иногородним земли не положено. Так что на моем паю шесть ртов... Видать, мне в батраках и загинуть... Чуда не будет! Конечно, – размышлял он, крадучись вдоль бесконечных деревянных фабричных заборов и мрачных зданий красного кирпича, торопясь по осклизлым от росы булыжникам... – Конечно, случись война – можно и крестов навоевать, и, чего доброго, даже в офицеры выйти – бывают такие случаи... Но войны – нет! А стало быть, все эти мечтания – суть химеры!»

– Господи! – перекрестился он на блестящий невдалеке купол Спасо-Троицкого собора Александро-Невской лавры. – Зачем я такой уродился? Всем чужой! Нет мне ни при ком ни места, ни утешения...

Своих собутыльников он застал в казарме и сразу приступил с допросом:

– Где ботинки?

Казак Елисей Анкудинов растерялся и кивнул на тумбочку:

– Вона! Уже и пошутить нельзя!

– Не знаю, как у вас на низу, – зло сказал Осип, заворачивая козловые полусапожки в газету, – а у нас в Собеновской за такие-то шутки так бы старики на майдане отрапортовали, месяц бы колом ходил, не присаживаясь!

– Да что такого! – взъерепенился черномазый Анкудинов.

– Ничего такого! – тряхнув чубом, пояснил Осип. – А только вот через вас, индюков, таковая слава, что «казакам чужое липнет», что, мол, «казак с бою не возьмет, дак потом стащит!».

– Гля, станичники, никак «пенек» в петербургску сучку втрескался! – пытался отшутиться Анкудинов.

– Мели мельница, сбрыхать – безделица! – огрызнулся Осип.

– Зеленов! – крикнул ему дневальный. – Ты бы не ходил к фабричным в одиночку. Дождись вечера. Всема пойдем!

– Пошли зараз! – позвал Осип. – Вечером поздно будет. У них нонеча сход какой-то, то ли сходка...

– Во-на! – протянул дневальный казачок из верхнедонских, который сильно симпатизировал Зеленову. – Стало быть, вона через чего мы в готовности...

И тут Осип обратил внимание, что, несмотря на воскресный день, казарма полна казаками. На всех кроватях и нарах сидели атаманцы в португелях, при шашках, пирамида с винтовками была открыта, и около прогуливался дежурный офицер.

– Так что и мне нельзя идти? – спросил Осип.

– Тебя не касает. Ты не нашего полка! А нас вот, того гляди, по тревоге не то усмирять, не то разгонять поведут... Пра слово, не ходи! Плюнь ты на эти штиблеты! В другой раз отдашь... – И, приблизив конопатое лицо к Осипу, дневальный зашептал: – Хотя по мне – дак и не надо отдавать! Пропить – самое правильное дело. Они, энти сучки фабричные, с нас так наживаются, слов нет...

– Пойду! – решительно надевая фуражку, сказал Осип. – Совесть тут оставаться не велит!

– Отлупят! – уверенно посулил дневальный.

– Уж как выйдет.

Дошел он до рабочих барачных и хибарок, что притулились к черному боку огромного завода и подслеповато блестели немытыми окнами на его непрерывно дымящие трубы, вопреки ожиданиям, благополучно. Никого на улице поселка не было. Мальчишки, готовые прицепиться к любому прохожему, куда-то подевались. У кабака, где всегда пиликала гармошка, а по воскресным дням гомонили работяги с кружками пива, со шкаликами в черных кулаках, было пусто.

Тамаркина подруга ушла, вероятно отыскав какие-то опорки.

– Ступай в школу! Все тамо... – объяснила Осипу старуха, ковырявшаяся в палисаднике, под окном барака.

Не хотелось казаку идти в толпу рабочих, но делать было нечего, сверток под мышкой жег его стыдом за все войсковое сословие, и он двинул к школе.

Еще издали он увидел черную многолюдную толпу у ее крыльца, на крыльце учительский стол, застланный зеленым сукном в чернильных пятнах, благообразного священника, издали блестевшего наперстным крестом и торжественно восседающего за столом, двух инженеров в фуражках с белыми чехлами, чахоточного учителя в пенсне. В полном молчании, плотно сомкнув плечи в черных пиджаках и синих косоворотках, рабочие слушали молодого длинноволосого парня в красной рубашке навыпуск и студенческой тужурке.

– Доведенные до отчаяния таким положением... – говорил парень, – болгары готовились к всеобщему восстанию... Посудите сами, какой народ смог бы терпеть такое. Один только

«налог крови», когда из поколения в поколение турки отбирали в болгарских семьях мальчиков, чтобы сделать их янычарами, девочек в гаремы, мог привести любого, и даже не очень воинственного человека, к той идее, что лучше погибнуть сражаясь, чем выносить такое. Болгары постоянно боролись! В горах постоянно таились гайдуки, делая для турок жизнь весьма небезопасной! Несмотря ни на какие зверства, народ готовился подняться.

В толпе рабочих одобрительно загудели.

– Как сообщали балканские корреспонденты и наши товарищи, воюющие в Сербии волонтерами, на протяжении нескольких последних лет готовилось всеобщее восстание с целью свержения османского ига!

Оратор перевел дух и вдруг, подняв кулак над длинноволосой головой, закричал:

– Однако! Среди болгар нашелся предатель! Турки начали карательные меры! Многие революционные комитеты были разгромлены... Тогда вспыхнуло апрельское восстание! Оно началось разрозненно и стихийно! И турки утопили его в крови. Толпы озверелых карателей огненной, кровавой метлой прошли по Болгарии. Зверства, чинимые ими, заставляют содрогнуться даже толстокожих представителей нашей отечественной администрации...

Худой господин нервно застучал по графину с водой:

– Господин Потапов... Я бы попросил вас воздержаться от подобных высказываний...

– Действительно нехорошо! – покачал головой священник.

– Не перебивайте его! – закричали в толпе. – Пусть говорит!

– Тысячи неповинных людей, подвернувшихся под руку башибузукам, были зарезаны.

Причем, как свидетельствуют очевидцы, убийства совершались с невиданным изуверством. Например, ворвавшись в болгарский дом, янычары сначала режут и насилуют детей на глазах родителей, затем убивают тех, кто постарше... И наконец долго истязают взрослых. Обязательно оставляя кого-нибудь одного, чтобы он, обезумевший от ужаса, мог рассказать о жестокости турок! Так они пытаются привести народ в повиновение.

В толпе поднялся шум, прерываемый женскими вскриками и рыданиями. Осип, искавший глазами бабу, у которой казаки «свели» ботинки, забыл, зачем пришел. Он уже не опасался, что ему могут накостылять по шее или пырнуть ножом.

«„Зеленая улица“»? – шептал он. – Это нам знакомо!»

– Да что ж правительство-то наше смотрит! Что государь!

– Да как можно терпеть такое!..

– Правительство? Государь... – переспросил студент и криво усмехнулся.

– Господин Потапов! – опять застучал карандашом по графину учитель.

– Во всяком случае, – закричал Потапов, – мне неизвестно, что решит правительство, мне не докладывают... Но вот что решили черные сотни простого народа, я знаю. И вы, вероятно, слышали, читали в газетах, что в Москве, Одессе, Ростове-на-Дону и других городах действуют Славянские комитеты. По всей стране идет сбор средств в пользу болгарских беженцев, а также для снаряжения добровольцев в Сербию... Собраны миллионы рублей. И я призываю вас прийти на помощь нашим гибнущим братьям! Только Россия, только русский народ может спасти болгар, сербов и вообще балканских славян от полного истребления!

Рабочие яростно захлопали. На крыльцо перед столом выскочил пожилой москлатый рабочий и, зажав в кулаке мятую фуражку, сказал, глядя в землю:

– Что касемо средств... Средств у нас нету... Едва концы с концами сводим.

– Да ты что такое говоришь! – закричали из толпы. – Как же можно в таком случае не помочь?

– Меньша бы в кабак деньги таскали, – визгливо крикнула какая-то бабенка.

Толпа надавила, и Осип, увязнув в ней, был вынесен чуть ли не к самому крыльцу.

– Погодите орать-то! – поднял руку рабочий. – Я не все сказал. Средств у нас нету в наличности, то есть денег... Но! Но! – закричал он. – У нас есть руки! И я хочу от вашего

имени, братцы, попросить господ из заводского правления разрешить нам работать в воскресные дни, а заработок перечислять в помощь болгарам и сербам!

Бурей одобрения разразилась толпа.

– Мы обсудим этот вопрос! – сказал человек в инженерской фуражке.

Осип, охваченный какой-то волной радости, вдруг неожиданно для себя крикнул:

– Господин Потапов, дозвоьте спросить... А как в добровольцы записываются?

Толпа заинтересованно повернула лицо к Зеленову. Казак смутился.

– Я к тому, – сказал он, – что пожертвовать мне на святое дело нечего. Сами видите, я человек казенный. Но я желаю принести на алтарь, так сказать, свою жизнь... Потому как желаю помочь прекратить турецкие безобразия и посодействовать освобождению наших братьев!

В толпе кто-то свистнул, но, видать, его одернули.

– Отвечаю! – сказал Потапов. – Вы должны лично прийти в Славянский комитет по адресу... – Он написал адрес карандашом на бумажке, передал по рукам Осипу.

Осип тут же спрятал ее в шапку.

– Подать прошение, и, ежели оно будет удовлетворено, вы получите подъемные: офицеры – двести рублей, солдаты – сто. У нас есть договоренность с железными дорогами – вас повезут бесплатно...

Он говорил, а сердце Осипа ликовало: вот он – выход! Идти добровольцем. Охотником. Дело святое!

– Сегодня же пойду! – крикнул-пообещал Осип.

– Желаю успеха! – Потапов протянул через головы первых рядов руку.

Рабочие, и пожилые и молодые, одобрительно улыбались ему. Если всего минуту назад на него смотрели с откровенной враждой и Осип был уверен, что драки не миновать, то сейчас его дружески похлопывали по спине, по плечам. Из чужака он превратился в близкого, своего... И для него эти черные непонятные люди, что по утрам молчаливой массой вливались в раскрытые ворота фабрики и казались одним безликим и странным враждебным существом, теперь вдруг обрели лица, и лица эти смотрели на казака без обычной угрюмости, а приветливо и дружески.

Заводской священник поднялся из-за стола и, положа руки привычным движением на наперстный крест, возгласил:

– Братья и сестры! Православный народ русский! Свет христианства воссиял над родиною нашей в девятьсот восемьдесят восьмом году. Вам известно, что предки наши избрали православие добровольно, не по принуждению, но боговдохновенным промыслом равноапостольного князя Владимира и его матери равноапостольной княгини Ольги... От Византии пришла к нам вера. И великое шествие ея не было подобно тому, как насаждалось католичество среди европейских, а ныне среди американских и африканских язычников. Во многом тому способствовало то обстоятельство, что восприняли жители Киевской Руси христианство через болгарских законоучителей, священников и монахов... Лучшие сыны родственного нам по крови и языку славянского народа болгар оставили дома свои, оставили народ свой, дабы одарить нас, пребывающих дотоле в язычестве и грехе, светом истины... Многие навсегда погибли в снегах Руси, не вынеся сурового климата и тоски по родине... Но дело они свершили. Дотоле пребывающий в языческом невежестве народ стал просвещен светом Христова учения... Ныне Господь призывает нас воздать за благодеяние, коим одарили нас во время оно наши братья!

Осип почувствовал, как его цепко и жарко схватили под локоть.

«Томка!» – Теперь он все вспомнил. Вспомнил и эту смазливую маленькую бабенку в туго натянутой кофточке, по-собачьи преданно глядящую на него.

– Пойдем к нам! – шептала она. – Пойдем. Обедать будем...

Волна жирного парфюмерного запаха воскресила в памяти Осипа и пьяный разгульный вечер, и душную потную ночь – его замутило.

– Не! – сказал он. – В другой раз. Мне в казарму надо. Там у казачков готовность...

Он едва отцепил огорченную Томку, которая жалась к нему в толпе мягким горячим телом. Отдал ей ботинки подруги.

– В другой раз.

Не опасаясь, что двинут в бок кастетом или ножом, он протискался через толпу молодежи, где парни одобрительно похлопывали его по плечам и по спине, и выбрался на улицу.

Его распирали восторг и какое-то веселое ощущение, что выход из его нынешней ужасной жизни найден! Конечно же – война! Конечно же нужно ехать волонтером! А там другая жизнь! Пусть опасная, но другая. Манящая! Романтическая!

«Хочь гирше, та инше!» – вспомнил он украинскую пословицу. И ему уже мерещились офицерские погоны и полный георгиевский бант. Та единственная тесная дверь, через которую мог выломаться казак в иную жизнь, казалось, со скрипом стала отворяться перед ним.

– Стой! – услышал он негромкий окрик.

Осип поднял голову.

Перекрывая улицу, что вела из рабочих районов к Невскому проспекту, стоял взвод казаков-атаманцев. Передний ряд был вооружен нагайками. Шагах в двадцати от него стоял второй взвод в полном боевом снаряжении, при винтовках и пиках.

– А ну подь сюды! – поманил Осипа рыжеусый хорунжий, сидевший на высоком гнедом дончаке. – Как тут очутился?

– Приказной Зеленов. Командированный! Квартирую в казармах лейб-гвардии Сводного Казачьего полка, – четко отрапортовал Осип. – Сейчас был на рабочей сходке...

– И что ж ты там поделывал? – подкрутив рыжие усы громадным кулаком в белой нитяной перчатке, спросил хорунжий.

– Они, вашбродь, вспомоществование балканским христианам собирают. Два дни собрались бесплатно отработать!

Страшный костяной удар в лицо опрокинул Осипа на мостовую. Он сильно стукнулся затылком, но тут же вскочил, держась за подбитый глаз.

– Будешь знать, как войсковое сословие позорить! – наставительно сказал хорунжий, потирая ушибленный кулак. – Будешь знать, как с хамами якшаться... Ишь дружков себе нашел! Марш в казарму!

Правым незаплывшим глазом Осип увидел, как в первом ряду, помахивая нагайкой, весело и злорадно скалит зубы Анкудинов.

Надо ли говорить, что Осип пошел не в казарму, а в Славянский комитет...

ДОКУМЕНТЫ

«Мы – рабы... Мы не можем даже сказать, что голова, которая у нас на плечах, принадлежит нам».. Христо Ботев

«...И всякий день терпим муки и гнусности, противные человечности, свободе и совести....Отуречивают детей, бесчестят жен помоложе и дочерей наших. Разве эти невинные – не сестры и братья наши? И все почему? Вы думаете, мы в этом виноваты? Нет, виноваты, и больше всех – вы, чорбаджии. Не вы ли причина тому, что перед нами все еще стоит это незаконное и проклятое зрелище? На кого другого им, бедным, надеяться? Если мы, их братья и отцы, не встанем и не прольем каплю крови, чтобы избавить матерей наших, жен и сестер наших, детей наших, кто другой это сделает?»

Васил Левский Письмо чорбаджии Ганчо Милеву, 10.5.1871 г.

«Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь братьев-славян, измученных турками, поднимаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхаемся, сидя в немощи рабства и духовной темноте» .

Ф.М.Достоевский. Дневник писателя. Март 1877 г.

«Последнее время ко мне каждый день являются в значительном числе различного сословия люди с просьбой дать им материальные средства идти в Сербию на войну за единомышленников славян, а 16 и 17 августа канцелярия моя была буквально осаждена людьми разных сословий...»

Сообщение астраханского губернатора в Петербург. Август 1876 г.

«Со всех концов России получают заявления, что наиболее щедр к пожертвованиям простой, бедный, неимущий класс людей. Рабочие на фабриках и заводах работают по праздникам и весь свой заработок отдают в пользу славян».

«Русское обозрение» № 8, август 1876 г.

З – Однако же им волонтеры не требуются! – не то спросил, не то утвердил Демьян Васильевич.

– Да я приперся-то в расстройстве и с фонарем под глазом! – засмеялся Осип: – От меня на улице люди шарахались. А там все народ сурьезный сидит! Ины по два месяца очереди дождаются, чтобы, значит, их рассмотрели прошение о посылке в Сербию или куда еще на Балканы...

– Ну а ты чего ж?

– Ну а я говорю, явите милость, пустите без очереди – мне зараз в полк надобно, я вдругорядь прийти не смогу... Пустили. Да только дело мое было безнадежное. Во-первых, на внешность я очень страховито в те поры выглядел. С похмелья, опять же глаз подбит, а во-вторых, главнейший резон – срочная не отслужена. Мне так один из комиссии, молодой такой, вроде вошел в понимание, сказал, что, мол, сначала нужно срочную отслужить, а то выйду я как дезертир... А они, значит, как укрывальщики беглого...

Они оделись и, освеженные, вернулись на мельничный двор.

– Ну а тут в полк вернулись, значит, наш, в очередной... Есаул дело-то выиграл, так нас чуть не с музыкой встречали... – говорил Зеленов. – Ну и я как-то подуспокоился: потому дело явилось – воевать! Дело честное, и так-то мне светло на душе стало, что и сказать не могу...

Демьян Васильевич распорядился об отправке муки в Жулановку и приказал Осипу садиться на дрожки.

– Хватит тебе на этих лодырей ломить – домой поедem. У нас, брат, дома тоже не все кругло...

– Что случилось? – встревожился казак. – Ай заболел кто? Ай из детишек? Я третьего дня выезжал, все было благополучно!

Демьян Васильевич выехал на большак подальше от мельничного многолюдства и тут только сказал многозначительно, повернувшись к сидевшему на дрожках боком Осипу:

– Аграфена – кобыла нагайская – вон что учинила: в подоле принесла! И неизвестно от кого!

– Чего? – не понял Осип.

– Байстрюка наковыряла, вот чего! – рявкнул Калмыков.

– Ну дак и что? – хлопая длинными ресницами, не понимал хозяйских расстройств казак. – В чем беда-то?

– А слава кака пойдет?

– Да ну... – протянул Осип. – Худая слава на ворота не виснет! Да и чего худого?

– А грех?

– Какой грех? – спросил казак. – Грех блудить, а родить – подвиг. Тут греха нет. Ежели кто так, то тогда можно и ворота дегтем, а коли баба родила – греха нет.

– Эва как ты выводешь! – досадливо сказал Демьян Васильевич. – Так, по-твоему, энтот случай и спущать без последствий?

– А как могут быть последствия? Никаких последствий. Кроме того, я Аграфену с детства знаю. И видать, не просто...

– Молчит стерва! От кого дите, не сказывает! – зло понукая рысака, сказал Демьян Васильевич.

– А какая нам с того разница? Чей бы бык ни был – теленок наш! Родился и родился! Родился не помер – чего печаловаться! Радоваться надоть...

– Я уж всех пытал – никто ничего не знает! Приказчики как воды в рот набрали...

– Сказано: нет ничего тайного, что не стало бы явным, – задумался казак. – А только на что нам знать – чье дите? Пушай растет! Зараз окрестим, и вся недолга... А истина рано или поздно сама явится!

И хоть Калмыков был совершенно не согласен с Осипом, возразить ничего не мог. Более того, рядом с этим здоровенным веселым парнем ему стало и самому казаться, что ничего страшного не произошло.

– А кто хоть? – пытал Калмыкова казак. – Мальчик або девка? Не! – говорил он, жмурясь от удовольствия. – Это хорошо, что в дому-то будет маленький... Через год ходить зачнет, вот и будет в дом радость... Будет как бубенчик кататься! Еще все мы Аграфену благодарить будем... А то как же без маленького в доме – скучно!

– Эх, Осип, Осип! – крутил примасленной головой и непокорным чубом Калмыков. – И в кого ты у нас такой?

А про себя ответил: «В отца своего! В Алексея!» Тот тоже умел вот так-то по-умному, просто разложить самое запутанное... Недаром хоть и был Алексей моложе Демьяна, а Демьян ему в рот смотрел.

Осип ехал, прислушиваясь к посвистыванию перепелов в пажитях и счастливо улыбаясь каким-то своим мыслям.

– Спел бы, что ли? – попросил Калмыков.

– Вторьте! – Зеленов на минуту задумался, какую песню начать. – «Уж ты степь, уж ты степь, ай да сколь она широкая, ну скажем, да вот она и раздольная...» – начал Осип, и Демьян, давно не певший, с удовольствием подхватил:

– «Конца-краю ей нет...»

– «Конца-краю ей нет», – начал вторую строфу казак. И Калмыков, весь отдаваясь ритму старинного напева, почти бросив вожжи и повернувшись к Осипу, подхватил:

– «Что никто в той степи не прохаживал, ну не прохаживал, ай да не проезживал...»

Мерное покачивание дрожek, завораживающая мелодия, степь, медленно кружащаяся вокруг седoков, вылечили Калмыкова от давешней утренней тоски и печали. Он даже дал

потачку Осипу: тот попросил разрешения взять в лавке самые маленькие ботинки, с тем чтобы подарить новорожденному «на зубок».

Демьян Васильевич позволил да еще от себя присовокупил несколько ассигнаций.

Расторопный Осип тут же выволок какую-то шелковую тряпицу и красиво перевязал узелок с гостинцами.

Темным осенним садом он прошел к крошечному, чтобы не дай бог кто из мужчин не влез, окошку Аграфениной каморки и осторожно попытался положить узелок на приколыш окна. Но планка была маленькая, узелок не помещался, а привязать его было некуда. Осип несколько раз ронял его и, подхватывая на лету, несколько раз стукнул в стену плечом.

– Кто здесь? – раздался испуганный шепот Аграфены.

– Грунюшка! – сказал Осип. – Это я. – Он выступил перед окном.

Женщина, бледная и простоволосая, за окном куталась в платок.

– Вот прими, значит, поздравление по случаю новорожденного раба Божия и, значит, как водится, на зубок...

Аграфена зажала ладонью рот, и только глаза ее расширились и наполнились слезами.

– От меня, значит, от Демьяна Васильевича... ну, словом, от всех нас... И не сомневайся... мы рады душевно и ты как была, значит, нам родня, так и будешь, – бормотал смущенно Осип. Аграфена отняла руку от трясущихся губ. – Спасибо вам, Осип Ляксеич! Бог попомнит вашу доброту! – низко поклонилась в окне.

И такая искренняя выстраданная благодарность прозвучала в ее голосе, что у казака болью зашло сердце. Скажи ему сейчас: возьми эту женщину на руки и неси ее подальше от греха, от беды и насмешек – он бы кинулся не раздумывая...

Глава третья. Река Собень. 15 сентября 1876 г.

1. Раков собрались ловить как-то уж больно споро, по-воровски. Демьян Васильевич даже хмыкнул:

– Будто пластуны в набег...

– А что? – сверкнул зубами Осип. – Хошь и мирная, а все же охота. Вдвоем с Никитой отыскиали они на чердаке несколько рачниц. Васятка, Христом Богом умолявший взять его с собой, чтобы выслужиться, откопал где-то обрезки такого тухлого мяса, такого вонючего, что даже старая нянька Макаровна, у которой из ноздрей всегда торчал табак, вследствие этой своей страсти неспособная отличить запах уксуса от чеснока, и то зажала нос.

А Васятка приволок свою добычу в дом и ходил с ней за Осипом и Никитой, ноя:

– Ну возьмите... Ну что вам стоит... Пока сама Домна Платонна не взмолилась:

– Да возьмите вы его, весь дом провонял, как на живодерне!

Пришлось взять.

Наловить рассчитывали основательно, потому запрягли старую кобылу Ласточку и припасли пяток ведерных корзин.

Васятка как овод вился около Осипа и путался под ногами, но старался изо всех сил чем-нибудь пособить.

Осип не гнал его, изредка похлопывая по заросшему затылку или нажимая, как на кнопку, на конопатый облупленный нос. Васятка, не избалованный отцовской лаской, млел.

Осипа он обожал. Ему нравилось в этом рослом веселом и крепком казаке все. И то, как Осип ходит, чуть раскачиваясь по-кавалерийски, и как поет, и как запрягает лошадь, а уж когда казак брал в руки хищно отточенную шашку, Васяткина душа воспаряла от восторга под небеса. Да честно сказать, даже выдавшие виды старики останавливались у плетня посмотреть и одобрительно кивали головами:

– Картина!

– Ну что, Василь Демьяныч! – сказал Осип хозяйскому поскребышу. – Говоришь, налогом раков-то?

– Должны! – преданно выдохнул Васятка.

– Ну раз должны, тогда конечно... – приговаривал казак, оправляя упряжь.

Настенька вынесла четырехугольную корзинку с крышкой, туго набитую снедью.

Казак перехватил поклажу и поставил в телегу.

– Ого! – сказал он. – Да тут столько, что нам и за всю ночь не съесть! Тут и раков ловить некогда...

– Управимся! – солидно сказал Васятка.

– Ну давай ты будешь раков ловить, а я припасы подьедаю, – засмеялся Осип, – как раз и ладно будет.

– Настасья Демьянна, – сказал он девочке. – Айда с нами раков ловить?

Настенька густо покраснела и ничего не ответила. только на кончиках ее длиннющих темных ресниц задрожали две мелкие слезинки. Подавив вздох, она взбежала на крыльцо и, мотнув толстой косой с голубой девичьей лентой, захлопнула за собой дверь.

– Ай я не так сказал? – удивился Осип, подхватывая Васятку и сажая его на телегу.

– Да нет! – зашептал мальчишка, обнимая казака за крепкую шею. – Она вон как просилась, а мамынька не велит!

– Через чего же?

– У нее знаешь... – Васятка защекотал губами Осипово ухо с тяжелой серебряной серьгой. – У нее титьки зачали расти!

– Чего? – не понял Осип.

– Тить-ки! – по складам объяснил Васятка.

– Каки таки?!

– Бабские! Правда-правда! Я сам видал! Она теперь купается отдельно и в рубаше... Опося стала отжиматься, а я из кустов-то и сосмотрел... Точно! Растут.

Осип хлопнул себя по бокам и захохотал.

– Что, не веришь? Не веришь? Махоньки таки, как у нас с тобой, но только на бугорках...

– «Сосмотрел»? – стонал Осип, колотя от смеха лбом в шею старой лошади. – Ну, ты пластун! Ну, разведчик...

– Да и так видать! – толковал Васятка. – Ты приглядишься! Они под платишком-то торчат! Дай срок, таки вырастут, ударит – ворота расшибет...

– Ой, не могу!.. Ой, мои батюшки... – выл Осип.

– Это вы чего? – Никита вынес пучок удочек. – Чего ты регочешь?

Васятка сделал Осипу страшные глаза – мол, молчи! Не сказывай.

– Да это мы так, промеж себя... – ответил Осип, смахивая выступившие от смеха слезы.

– Вот, братец ты мой, Василь Демьяныч, а давно ль я ее Домне Платонне мыть помогал? Бывало, воды в котле нагрее в летней-то кухне и купаем в корыте... А она улыбается, беззубая, лысая, нравится ей... А теперь, вон поди ж ты, барышня! Ну, поехали, что ли? – спросил он, разбирая вожжи и вскакивая боком на телегу.

– Васятка! – закричала из окна, высунув голову поверх занавески и бальзаминов, Домна Платонна. – Один в воду лезть не мог и от Осипа ни на шаг! Ты слышишь ай нет?! Чай божился!

– Слышу, слышу... – пробурчал мальчишка.

– Ребята! Осип! Никита!

– Да ладно вам, маманя! – отмахнулся Никита. – Уж сто раз говорено.

– Не извольте беспокоиться! Будет как кредитный билет в банке! В полной сохранности! – крикнул Осип. – Ннннууу!

Телега закрипела, тронулась.

– В добрый час! – сказала, крестя их на дорогу, нянька Макаровна, растворявшая ворота.
– «Из-за леса, леса копий и мечей!» – запел Осип. И Никита с Васяткой подхватили, легко разбираясь по голосам:

– «Едет сотня казаков-лихачей!»

– «Аааааай, говори!» – повел низами Осип. И братья грянули во всю силу легких, так что во дворах залаляли собаки:

– «Едет сотня казаков-лихачей!»

Песня считалась новой, ее привезли казаки с «Кавказского театра», как называли затяжную и кровавую войну с непокорными горцами Кавказа, что, то затухая, то разгораясь, тянулась уже не первый десяток лет.

На завалах мы стояли как стена,

Стенка алыми цветочками цвела... —

распевали казаки, не вдумываясь в страшную точность этого поэтического образа пули, хлестнувшей в чью-то грудь в белой гимнастической рубаше, поскольку бурки и мундиры были сброшены – рукопашная...

А кто первый до засеки добежит,

Тому орден, честь и слава надлежит...

А кто не добежит? Кто рухнет оземь, наткнувшись на безжалостный свинец или на клинок горца?.. О том не думалось. С готовностью отдаваясь власти песни, парни выехали за свободу и покатали по остывающей от дневного жара дороге, покрытой невесомой черноземной пылью, под которой, как в печи под пеплом, еще таилось тепло.

Они миновали разъезд, который хоть и был сменен, но все одно торчал на прежнем месте, перекрывая дорогу. Причем все трое из разъезда приняли живейшее участие в рассуждении на тему, куда ехать, где самые рачные места. И разумеется, все трое показывали в три разные стороны.

Раколовы уже давно отъехали, а пикетчики все еще орали друг на друга, тыкая нагайками по направлениям к одним им известным обильным речным местам.

Уже темнело, и, пока они распрягали лошадь, устраивали на поднятых тележных оглоблях балаган из большого куска парусины, пала ночь. Закидывали рачницы, разводили костер из сухих ивовых корней, вымытых из-под берега труженицей Собенью, уже в темноте.

Осип зажег припасенный факел из смолья и вместе с Васяткой отправился побродить по отлогому берегу Собени – поискать еще топляка на костер, чтобы не подкидывать сухую траву, а понежиться в безделье у неторопливого огонька.

Вода в реке была уже по-осеннему холодной, и Васятка, несший факел, поджимал босые ступни, как гусь шлепая по воде. Осип же ходил босиком с удовольствием; четыре года отбывав в тяжких кавалерийских сапогах, он с наслаждением давал волю и отдых поковерканным тесной обувью ступням, отвыкшим от речной прохлады, шелка прибрежного песка и атласа глинистого дна.

Поначалу они с Васяткой жадничали – совали в вязанку каждую хворостину, но потом наткнулись на целое корявое бревно, отрыли его из сухого песка и поволокли к костру.

У белеющего, будто парус, балагана они увидели не только Никиту, которого оставили следить за огнем и готовить ужин, но и еще двух незнакомцев.

– Вот... – сказал один из них, здороваясь, – попросились на огонек.

– Милости просим, повечеряйте с нами, – пригласил Осип.

– С удовольствием.

Никита разлил в кружки чай и подал гостям. Осип достал из корзины съестное.

По тому, как незнакомцы жадно набросились на еду, Осип понял, что они очень давно не ели. «Кто это? Что за люди? – подумал казак. – Что делают ночью порой в степи? Почему с ними нет никаких вещей?»

Но старинный неписанный этикет не позволял задавать никаких вопросов, пока гость не начинал рассказывать сам.

Васятка, улучив момент, зашептал Осипу:

– Ось! Чой-то я их опасаюсь... Вона как трескают! Может, беглые. Разбойники каки...

– Не похоже! – сказал казак, однако достал из-под сена в телеге нагайку и надел на правую руку.

Один из гостей заметил и, уплетая пирожки, улыбнулся.

– Без этого инструмента даже раков не ловите?

– Нам так привычнее! – в тон ему ответил Осип.

– Вот, Генчо! Смотри. Настоящая казачья нагайка. Можно сказать, символ Войска Донского и порядка Российской империи.

– Я знаю. Это такой плетъ! – сказал с незнакомым акцентом второй гость – черноволосый и темноглазый с густой черной бородкой.

– Нет, дорогой! – сказал первый незнакомец. – Она только по виду плетъ, а на самом деле покрепче шашки будет! Так я говорю?

– Для иных причин... – ответил Осип, которому был неприятен этот разговор и этот словоохотливый человек в городском пиджаке, в студенческих брюках, заправленных в высокие сапоги.

– Да, – продолжал говорливый, – я с этим инструментом правопорядка очень хорошо знаком... Сколько в ней весу-то?

– Эта легкая...

– Ну да... я и говорю – игрушечка. Изготавливается, если я не ошибаюсь, так: стальной трос, костяная рукоятка, все это оплетается кожей, а на конце в специальном мешочке пуля или рубленый свинец. Так?

Осип кивнул.

– А зачем такая?

– На волков, – ответил нехотя Осип. – Или ежели в бою – кирасир. Его шашкой не возьмешь, а тут вдаришь по каске, он и готов... Да нынче уж мало кто ею владеет.

– Не скажите! Не скажите! – зло засмеялся студент. – Государь-самодержец не даст пропасть древнему искусству, тем более что ему все больше и больше находится применение...

Осип смотрел поверх костра на говорившего и не мог припомнить, где прежде его видел. Были знакомыми и густые русые волосы, и тощая бородка на худом скуластом лице.

Вот второго казак точно не знал, да похоже, он не русский, может, кавказец?

– В бытность мою студентом Петербургского Императорского я самолично наблюдал поразительное владение нагайкой донским казаком, который одним ударом чуть было не перебил пополам человека.

– Стало быть, заработал... человек-то, – сказал Осип и подумал: «Вот собака! Наш хлеб есть и нас же хает».

– А вы были студентом? – спросил Никита, доселе молчавший.

– Да-с, имел счастье!

– Вестимо счастье! – вздохнул молодой Калмыков. – Такое счастье, то есть даже сказать невозможно... Мечта!

– Так в чем же дело? – сказал говорливый. – Судя по вашей экипировке, средства вам позволяют...

– Вы, господин, не знаю имени-отчества, извините... наверно, не все про нас знаете! – сказал Осип. – Никите на тот год служить. Уж ему там науку пропишут... По обеим скулам... Смотри в какой полк попадет.

– Не понял! – сказал говорливый. – Становитесь студентом, а студентов, как известно, служить не берут!

– Да как же! – чуть не зарыдал Никита, поскольку затронули его больное место. – Мне за гимназию надо сдавать экстерном. Ну, допустим, я сдам... так ведь для того, чтобы студентом стать, нам, то есть тем, кто из казаков, нужно разрешение самого Наказного атамана... А разве его получишь? От всего войска учиться поступают единицы, да и те из казачьих дворян...

– Вот как, – сказал говоривший. – Я, признаться, этого не знал. – И голос его смягчился. – Вот так вольные казаки... А какое у вас образование?

– Отец два года доучиться в гимназии не дал... Уж я как просил, в ногах валялся... Нет! Посадил в лавку! Торгую теперь!

– Демьян Васильич тебя, дурака, любит! – сказал Осип. – Он мне давеча гутарил: мол, Никита в университет мечтает, а того не ведает, что от родителей едут в университеты, а попадают в Сибирь.

– Это верно! Это верно, – засмеялись оба незнакомца. – Ну что ж это мы сидим разговариваем, а не знакомы... Василий Потапов, студент, а это – Генчо.

– Имечко-то не круглое, – сказал, пожимая его крепкую руку, Осип.

– Евгений! – улыбнулся черноволосый. – У нас так говорят. Генчо. Я – болгарин.

– Болгарин! – закричал Осип. – Батюшки! Да что же вы сразу не сказали! Господи! А я, дурак, думаю, что за люди, и за нагайку. Ах, Васятка! Это ты меня сбаламутил... А и то сказать, господа, вы уж на нас не серчайте: следуете по степи ночью, без поклажи, без вещей... Кто знает, что за люди... Болгарин, ну тогда другое дело. А то могут быть и лихие люди.

– Вы уверены, что среди болгар нет преступников? – засмеялся, сверкнув белыми до голубизны зубами, Генчо,

– Да какие там преступники! Над ними как турки глумятся! – замахал руками Осип. – Читать газеты без дрожи не могу.

– Это одна из русских иллюзий, – сказал, посерьезнев, Генчо. – Но это святая иллюзия...

Осип никогда не видел таких глаз, как у этого болгарина: огромные, глубокие и такие черные, что зрачок казался неотличимым от радужной оболочки. Кроме того, они были обведены черным ободком и потому казались иконописными. Казак видел такие иконы в староверческих церквях, они считались византийского письма, и вот теперь он с удивлением и каким-то трепетом перед той печалью, что светилась в них, рассматривал их не на иконной доске, но на бледном худом лице живого человека.

– Черт бы побрал эти наши пресловутые иллюзии! – треснул кулаком о раскрытую ладонь студент. – Куда ни плюнь – кругом иллюзии... Иллюзия империи единой, неделимой, благоденствующей... которую никак не могут усмирить... Иллюзия доброго царя, которого умильно благословляют освобожденные им крепостные!.. Ведь это уму непостижимо: тиран – в ореоле освободителя! И разумеется, наиболее популярны создатели новейших иллюзий – господин Достоевский, граф Толстой... Когда же мы дорастем до материализма?!

– Мне кажется, Потапов, ты путаешь все в одну кучу и называешь иллюзиями национальные устремления, мечты, политику и духовность нации...

– Мечтания – удел раба! Кстати, мечтать рабу – позволительно! Мечтать – пожалуйста! Действовать – сразу в ход пойдет весьма материальная нагайка...

– Мечта спасла болгар от распыления в недрах турецкой империи! Именно те иллюзии, против которых ты восстаешь, были единственным материальным началом, которое помогло народу выжить до сего дня, – сказал Генчо. – А что, собственно, свобода как не мечтание? Что независимость как не иллюзия? Однако люди идут за них умирать.

– Не больно-то они идут. Те же твои болгары, – резко сказал Потапов. – Пятьсот лет, запершись в своих кыштах, мечтали при свечах об освобождении, а когда пришел Христо Ботев, ему никто ворот не открыл! Это-то ли не рабство?!

Осип увидел, как дрогнуло лицо болгарина, и понял, что студент ударил его по самому больному месту.

Студент тоже это почувствовал.

– Ты меня, конечно, извини и не обижайся за резкость, – добавил он торопливо.

– Я не могу сердиться на человека, который идет умирать за мой народ, – сказал Генчо, глядя в огонь, словно бы самому себе, словно бы самого себя сдерживая и уговаривая не отвечать резко. – Но я удивляюсь, Потапов, как с такими мыслями, с таким презрением к народу ты собираешься его освобождать! Мне просто страшно...

– Чего тебе страшно?

– Вы идете в народ, а он выдает вас полиции, забивает пропагандистов кольями, травит собаками... Что это? Почему народ настроен к вам враждебно? Он готов более сочувствовать разбойнику, убийце, чем революционеру...

– Может, и так... – ответил Потапов. – Но мне кажется, это все излишнее усложнение... Миром правят законы экономики...

– Но человек-то... – перебил его Генчо, – человек-то не состоит из законов экономики... Что мне с того, если я знаю: российское самодержавие стремится усилить свое влияние на Балканах. Что мне с того! Я вижу тысячи людей, готовых отдать жизнь за моих братьев! Я вижу единение! Единение России в этой великой созидательной иллюзии – освободить мой народ.

– Это не я, это ты все путаешь! – закричал Потапов. – Никакого единения нет! Две идеи: господство на Балканах и освобождение балканских народов – соседствуют, но не пересекаются! Дураку понятно, что именно эта идея подогривала всю кампанию по оказанию помощи славянам. Именно эта идея объединила все сословия русского народа! Но объединения вокруг царя не произошло! И царь это понимает. Поэтому он и рад бы начать войну, да боится, как бы с Балкан его солдаты не принесли назад вместо идеи единения с царем – революцию!

– Это не так! Не так! – загорячился Генчо.

Но Потапов только смеялся, встряхивая длинными светлыми волосами.

– Как же не так, если мы с тобой должны пробираться через всю страну нелегально... Именно так...

– Так вы в Сербию? – сказал Никита, который, как и Осип, неотрывно слушал все, что говорили эти два малопонятных человека. Слушал, хотя почти ничего не понимал, словно говорили они на иностранном языке.

– Вспомнил! – вскрикнул Осип. – Вспомнил, где я вас видел, господин Потапов. В прошлом году в Петербурге на рабочей сходке. Я еще вас спрашивал, как в охотники записаться... Не припоминаете?

– Нет, брат, – честно признался Потапов. – Ну и что, ходил в Славянский комитет?

– Ходил, да что толку... Я тогда срочную служил. А теперь вот мобилизации жду.

– Ну, ее можно ждать до второго пришествия... То есть, возможно, она и будет, так, во всяком случае, в церкви обещают!

– Да как же! – сказал горячо Осип. – Как же не быть! Ведь весь народ этой войны хочет.

– Вот тебе и ответ! – сказал Генчо. – Я не отрицаю, может быть, правительство начинало кампанию в поддержку освобождения балканских христиан, имея в виду свои цели, но сейчас разбужена национальная солидарность, и правительство вынуждено поступить так, как желает народ...

– Посмотрим! – сказал Потапов. – Не похоже что-то. Еще живы воспоминания, как нам в Севастополе дали по морде. По нашей самодовольной великодержавной роже...

«Будто радуется! – подумал неприязненно Осип. – Чудно!»

– Что? – засмеялся Потапов, перехватив Осипов взгляд. – Вам мои слова не по нутру?

– Не по нутру! – резко ответил Осип. – Не люблю, когда над моей, значит, державой насмеваются.

– Он не насмеется, – мягко сказал Генчо. – Он сам страдает. А эта война породила надежду в болгарях...

– И дала им возможность заработать миллионы на военных поставках туркам...

– Как так? – в один голос ахнули Осип и Никита.

– А вот так! – зло улыбаясь, сказал Потапов. – Вся Болгария шила туркам мундиры...

– Ну, допустим, не вся, – сказал Генчо.

– Это правда? – глядя ему прямо в глаза, спросил Осип.

– Да! – ответил болгарин, не отводя глаз. Минуту они смотрели друг другу в глаза.

– Хорошо, что не отказываетесь, – сказал Осип и потянулся снять с огня чайник.

– Почему хорошо? – улыбнулся Генчо.

– Стало быть, это я чего-то не понимаю, – хмуро ответил казак.

Потапов захохотал. Но Генчо, мгновенно посерьезнев, как он умел, сказал:

– Да, болгары шили мундиры и поставляли сукно туркам. Да, болгары поставляли продовольствие и давали деньги в рост... Да!

– На что вы нам это все говорите?! – сказал Никита, помрачневший вслед за Осипом.

– А действительно? – все еще улыбаясь и ерничая, переспросил Потапов. – Они же в Болгарию воевать собрались... Они же, я так понимаю, охотниками идти намылились. А тут такой пассаж... Такое развенчание..

– В тысячу восемьсот двадцать пятом году! – ответил Потапову Генчо. – На Сенатской площади стояли полки... Их считала картечь... Но почему они вышли на площадь, чего добились, знали офицеры, и то не все... Из солдат же цели не ведал никто.

– Что ты этим хочешь сказать?

– История страшно отомстит вам за это...

– За что? За...

– За то, что вы решили облагодетельствовать народ и, не спросив народа, желает ли он ваших благодеяний, подставили его под картечь. Это вам, Потапов, ответ на то, почему мужики забивают колами ваших пропагандистов... в деревнях... – Генчо говорил твердо, видно, что говорил давно обдуманное. – Я не хочу обманывать людей, которые готовы отдать жизнь за освобождение моего народа... Да, казак! Да! Болгары делали все это! Да! И когда Ботев призывал народ взяться за оружие, ему не открыли ворот... Да, это так... И ваше право выбирать, идти на войну или нет. Но я хочу сказать, что те же самые люди, что не отворили двери своих домов Ботеву, через два дня до последней капли крови сражались с турками-карателями...

– Это не довод! Они защищали самих себя, – встрял Потапов.

– Да, они защищали самих себя! Пятьсот лет они защищали самих себя и еще иллюзию, совершенно беспочвенную иллюзию, что каждый народ имеет право жить так, как считает нужным! Народ не может состоять из одних героев. Как не может состоять из одних негодяев... Но за то, что в болгарях меньше рабства, чем могли бы породить полтысячелетия угнетения, говорит хотя бы то, что этот народ существует. Что он сохранил язык, культуру, что он все пятьсот лет не переставал бороться за иллюзию... И не поменял ее на материальное благополучие... и безопасность... Я не знаю, что вы решите, идти или не идти, но я могу сказать только свое мнение: болгарский народ достоин свободы хотя бы потому, что за пятьсот лет рабства не утратил тоски по ней!

Они еще долго говорили – о чем, Осип уже не мог вспомнить. Никита ушел спать в балаган под телегой, где уже давно задавал храповицкого Васятка, подставив луне босые черные пятки. Потапов и Генчо спорили о чем-то совершенно непонятном Осипу. А он сидел подавленный настолько, что даже не знал, о чем спросить Генчо или студента...

Отдохнув, гости собрались в дорогу. Осип снабдил их снедью и довел до брода через Собень. Пожав на прощание казаку руку, двое ушли в темноту. Осип послушал, как под их ногами плещет вода, и, когда шаги стихли, вернулся к костру – спать.

2. Чуть посветлело на востоке. Осип раздул подернутые сизым пеплом рубиновые угли костра, подвинул тлевшее бревно и повесил над огнем остывший чайник.

Потом спустился к Собени – умыться. Туман белым молоком разливался по всей пойме и только над самой водой отступал и висел плотным облаком. В его вязкой призрачной белизне прибрежные кусты и деревья теряли свои очертания, а соседний близкий берег был совсем не виден. Казак ступил в теплую воду, с наслаждением облился водой до пояса, крепко протер подобравшиеся от утренней прохлады мышцы холстинковым полотенцем.

Никита с отлежанной щекой и соломой в кудрявой голове сидел, зябко пожимаясь, у костра, дожидаясь чаю.

– Ополоснись! – посоветовал Осип.

– Бррр... – передернуло Никиту.

Из балагана на карачках выполз Васятка.

– Рачницы смотрели? А? Чего поймалось?

– Иди хоть рожу умой! – сказал старший брат. – Нет тебе угомону! Всю ночь меня коленками пихал. А и то! – сказал он Осипу. – Разбередили мне душу вчерашние-то... Живут же где-то люди. Страсти... события... А тут зараз как в этом тумане пребываешь... Ни день ни ночь... И вдале ничо не маячит. Господи! Ну хоша б какую перемену послал! А то так и вся жизнь пройдет...

– Есть! – закричал от реки Васятка. – Вона сколь их! Вона! С усами...

– От баламут, – засмеялся Осип. – Зараз к рачницам полез. Не даст чаю попить! Он схватил корзину и побежал к воде. Васятка, перегнувшись, тащил из воды сито рачницы.

– Осип! Подсоби...

– Давай травы мокрой! – велел Осип. – В корзинку!

В решете копошились черно-лаковые, цвета нового голенища, раки. Тяжелые, в хорошую, мужскую пятерню, самцы давили и отпихивали раков поменьше, норовя впиться в мясо приманки.

– Не суй пальцы! Не суй пальцы! А то враз отщелят! – отпихнул казак мальчишку. – Вона у их как ножницы...

Раки, злобно щелкая клешнями, пятились, тараша бусины глаз, шевелили длиннющими усами.

Осип азартно хватал их за пупырчатые панцири и швырял в корзину, перекладывая каждый слой мокрой речной и пойменной травой.

Полную корзину накрыли плетеной крышкой и поставили под берегом в воду.

На четвертой корзине азарт прошел, и стало уже неинтересно отрывать черных зверюг от приманки и швырять их в корзинку. Васятка совсем отрешился, гоня здорового рака тростиной по песку.

– Ну вот! Еще полкорзинки руками наловим, и ладно будет.

Осип снял шаровары и, подсучив сподники, пошел шарить в воде под берегом, нащупывая усатых панцироносцев в их норах, хватая их за спины, за усы, порой попадая пальцами в клешни, крепкие, как бельевые прищепки.

– Идите чай пить! Скипел! – сказал, появляясь из тумана, зевающий Никита.

Торопливо наполнили последнюю корзину, до поры поставили в воду и сели завтракать.

Не успели съесть по куску хлеба, как в тумане гулко затопали копыта и к костру присутствовали три лошадиные морды.

– Кто такие? – спросил сверху строгий голос.

– Жители тутошные, – сказал Осип, поднимаясь от костра. – Раков промышляем.

Он с удивлением увидел, что разъезд жандармский, а не казачий.

– Никого тут не встречали?

– Вроде никого! – сказал Никита. – Никого, вашбродь!.. Ловите, что ль, кого?

– Не твоего ума дело! – оборвал жандарм. – Давай вправо и влево по берегу, – приказал он солдатам.

– Тут вчера двое городских не шлялись? – спросил он, пристально глядя в лицо Осипу.

– Да нет, – сказал Никита. – Мы поздно приехали, да и спать легли... А что они натворили?

– Не твоего ума дело! – опять осадил его жандарм, поворачивая коня. – Встречаемся у Тимофеевского кургана. – Конь фыркнул Осипу в лицо и, тяжело, горячо дыша, принял под берег. Жандармы-солдаты двинулись следом. Скоро слышались всплески: всадники пошли вдоль берега по воде.

«Вона, значит, против кого на дорогах пикета поставлены! – понял Осип. – Политических ловят». Но как это он приказной Войска Донского смолчал и вроде как способствовал преступникам, коих разыскивает власть? Однако хватать и вязать Генчо и Василия было немыслимо...

Никита же всей душою был на стороне вчерашних посетителей и своим враньем вынудил и Осипа вроде бы как стать соучастником укрывательства.

Васятка, который проникся происшедшим, молчал и только тарасил черные раскосые, как у отца, глаза.

«Да как же это можно? – думал Осип. – Как же можно своего царя не любить?»

Государь всегда представлялся казаку существом необыкновенным. Даже внешне, думалось, он должен быть выше, крупнее других, а уж душевными качествами намного обильнее. Царь добр! Он слышал о том, что некий петербуржец стрелял в царя. Ну так мало ли сумасшедших? Осип в детстве видел, как допившийся до белой горячки казак порубил шашкой всю скотину и гонялся за детьми и женой... Его ловили арканами и вязали, буквально втапывая сапогами в землю! Вот и этот стрелявший представлялся ему таким же!

Вчерашний гость – политический Потапов – говорил о царе зло и пренебрежительно, называя его первым помещиком и началом всех зол...

Осип удивлялся себе: почему он слушал? Почему он, казак Войска Донского, позволил такие речи в присутствии Никиты и Васятки, которые были моложе, и, стало быть, он был за них перед Богом и людьми в ответе.

И тут же Осип понимал, что Потапов говорил убедительно! Всей душой восставая против его слов, Осип ничего не мог возразить. Больше того, возникал неотвязный вопрос: как же царь, который одним мановением руки, одним словом может закоренелого убийцу освободить от виселицы, не пришел на выручку нескольким сотням невинно гибнущих людей, когда запарывали хутор Зароков?

– Государь не знал! Ему не сказали! – шептал Осип.

Но почему государь не позволяет волонтерам ехать спасать братьев-христиан? Почему?

Голова шла кругом. И только страшное событие, случившееся в эту ночь у них дома, заставило забыть на некоторое время мучительные вопросы. Ребенок Аграфены умер.

3. На кухне встревоженные, заспанные приказчики расспрашивали стряпуху, как все случилось, и она, с важностью человека, непривычного быть в центре внимания, рассказывала, что «дите родилось квелое», до срока, что грудь нипочем не брало. А под утро взяло да и дышать перестало.

Домна Платонна, сама схоронившая четверых, рыдала так, что бегали за доктором, и теперь она лежала в спальне, куда Гулька-татарка с вытарашенными раскосыми углями глаз таскала лед из погреба в пузыре.

Осип отпихнул плечом стряпуху и, наклонясь, шагнул в Аграфенину каморку.

В сумраке закрытого ставнями окна он увидел маленький сверток на сиротливой лдыне Аграфениной койки и только потом саму Аграфену, забившуюся в угол каморки и глядевшую сухими глазами прямо перед собой.

Осип шагнул к ней, и Аграфена, вдруг страшно вскрикнув, ударилась лбом в его широкую грудь и, обрывая на казаке рубаху, повалилась на пол.

Осип вытащил ее на кухню. Рывкнул на приказчиков так, что они, будто сливы с дерева, сыпанули во двор, и, обхватив худые плечи женщины, стал лить на ее иссиня бледное лицо воду, совать под нос вату с нашатырем, вливать в мертво сцепленный рот валерьянку.

Демьян Васильевич заглянул было в кухню, но, увидев, что тут без него туго, махнул рукой и скрылся в лавку. Осип со стряпухой с трудом вернули женщине сознание. Обмякшую, словно бы всю заледеневшую, отнесли на стряпухину кровать.

Аграфена, с прилипшими ко лбу змеящимися черными нитями волос, с обострившимися скулами и проваленными глазницами, была покорна, как неостывший труп. С трудом поворачивая глазами, она нашла Осипа и сказала-прошелестела:

– Осип Ляксеич... гробик бы надо... Осип положил руку на ее ледяной лоб и погладил ее своей горячей широкой ладонью. И она, вцепившись своими маленькими руками в него, вдруг зашептала горячо, бредово:

– Ведь некрещеный ребенок-то... некрещеный... безымянный... Стало-ть, закопают, как собаку, поминать нельзя. Сталоть, и не увижу я его никогда боле. Мне, грешнице, в аду гореть... Так я бы хоть из мук огненных его в блаженстве видела... А то его и не будет нигде, не сыскать не увидеть... Господи, – закричала она звериным голосом, – за что осиротил... За что растерзал меня... За что лишил однова моего сокровища...

Она начала выгибаться и биться на кровати так, что Осип еле удержал ее от того, чтобы в беспамятстве она не разбила голову о железную спинку.

Часа через полтора он в располосованной до голого живота рубахе, мокрый от разлитой ледяной воды, шатаясь вышел на черное крыльцо, отдышался. И поплелся в сарай сколачивать гроб.

– Эх, Осип, – сказал ему конюх Гаврила, который почитался совершенным дураком. – Эх, Осип, и что это завсегда вся самая, стало быть, такая работа тебе достается... Как нужник чистить – так мне, а как чего, значит, чтобы сердце надорвалось, так тебе... За что нас хозяин так мытарит?

– Про тебя не знаю, – ответил, дивясь разумной речи Гаврилы, казак. – А меня не хозяин, меня Бог испытывает... Я чаю, он ведет меня к чему-то, значит, да только вот, по грехам своим, не разберу к чему...

– Эх, грехи, грехи наши тяжкие, – вздохнул Гаврила и достал откуда-то припасенные струганные дощечки. – Красить-то будем? – спросил он, когда Осип споро сколотил последнюю колыбель человека, так и не успевшего покачаться в первой, настоящей...

– Будем, – твердо ответил Осип.

– Так ведь все едино сгниет!

– Это не для земли, это для Аграфены... Крась, я к попу схожу.

Отец Ефрем недавно закончил курс семинарии и, быстро пройдя чин дьякона, принял богатый приход в Жулановской. Он считался человеком либеральным, выписывал газеты, жена его, окончив курс гимназии, была одной из самых образованных женщин слободы, носила пенсне и курила папиросы, за что молодой священник имел от своего начальства порицания.

Он только что закончил обед, когда Осип переступил порог его большого уютного дома.

Осип помнил отца Ефрема еще по городскому училищу, куда они бегали вместе и где будущий пастырь славился как завзятый драчун. Сейчас от прежнего конопатого и веселого сорванца в нем не осталось и следа.

– Знаю, знаю, мой милый, с чем пришел, – сказал он казаку, неторопливо расхаживая по комнате, ступая то на желтые плиты солнца, бьющего из окон, то на лиловые отсветы занавесок.

Его жена вышла из соседней комнаты, стала у притолоки, прислушиваясь к спотыкающейся пьесе, которую барабанил на пианино ее ученик – сын аптекаря, и время от времени раздраженно выкрикивая:

– И раз и два... и три... пауза... раз...

– Согласно церковным установлениям...

– Ефрем! – резко сказала попадья. – Ты должен помочь!

– Что значит «помочь»? Выше головы не прыгнешь. В конце концов, не могу же я крестить усопшего... Я, конечно, поищу какой-нибудь выход... Разумеется, мы что-нибудь придумаем...

Осип смотрел на лиловые занавески и бархатные скатерти, на золотые пылинки, толкавшиеся в снопах солнечного света, и ему было неловко и своих огромных стоптанных сапог, и линялой рубахи, даже шаровары с лампасами казались тут совершенно неуместны, в этом доме другого мира, с кадками цветов, дорогими иконами и малиновым светом лампы.

Осип поблагодарил. Ткнулся в руку, пахнущую дорогим табаком и ладаном, – странно было целовать руку своему однокласснику. Но батюшка не смутился, привычно благословил казака, и он, нахлобучив фуражку, скатился с крыльца.

Он слышал, как священник заспорил с женой. То есть она принялась что-то доказывать раздраженным высоким голосом. Он что-то возражал, до Осипа долетали отдельные фразы:

– Да... друг мой, при чем тут служение людям? При чем? Не могу же я...

«Конечно, – думал Осип, шагая по улице. – Есть правило навроде устава, и священник не может его нарушать... Но, с другой стороны, он же душе человеческой служит... Нешто тут какие незыблемые правила есть? Не об ребенке речь... Аграфену пожалеть надобно. Эх...»

Вечером он перекинул через плечо связанное узлом полотенце, подвязал под мышку гробик и, прихватив лопату, пошел с Аграфеной хоронить младенца.

Аграфена молчала во все время, пока он копал могилу с внешней стороны кладбищенской ограды, зарывал, ровнял холмик без креста. И только когда они шли обратно и он вел под руку дрожащую нервной мелкой дрожью и не могущую согреться женщину, она вдруг сказала ему:

– Спасибо тебе, Осип Ляксеич... В одном тебе душа человечья. А что без креста похоронили... Бог-то не посмотрит. Это ведь все люди выдумали, чтобы, значит, на кладбище... да с крестом. Бог-то не пристав, чтобы, значит, все предписания сполнять... Бог-то, Он отец, Он простит...

– Верно. Верно, горькая ты моя... – жалел ее Осип, понимая, что ничем помочь в горе этой женщине не в силах.

– Я тебя вот о чем попросить хотела, – сказала, глядя ему прямо в глаза черными провалами глазниц, Аграфена. – Только ты сначала побожись, что исполнишь.

Осип перекрестился.

– Ты меня с моим ребеночком схорони.

– Да ты что, Фенечка! – ахнул Осип. – Да в твои ли годы об этом думать! Ты что, голубушка моя, все образуется...

– Смотри, – сказала Аграфена. – Ты перед Богом обещался...

Глава четвертая Жулановская слобода 20 сентября 1876 г.

1. По старой привычке Демьян Васильевич поднимался чуть ли не затемно – в шестом часу. Помявшись и наскоро умывшись, шел в лавку или на склад, а завтракать возвращался домой часам к десяти и завтракал основательно. Сначала съедал тарелку вчерашних щей, закусывал пирогом и уж после пил несколько чашек чаю со сливками, со всякими выпечками Домны Платонны, на которые она была великая мастерица. Одно только расстраивало хлопот-

ливую и усердную хозяйку: хоть сам и похваливал ее стряпню, а все ей казалось, что жует он изысканные кулинарные изделия, как корова траву. Да та поди еще поболее разбирает вкус! Сам и за завтраком был всегда мыслями далёко. Еще в молодые годы Домна Платонна подкладывала ему вместо надкусанного пирожка с вареньем ломоть хлеба с горчицей – не замечал! А она потом ночами плакала...

Но с годами смирилась и поняла, что сам ест, как говорила старая нянька Домны Платонны, «не в сладость, а в сытость».

Было и другое огорчение: за утренним чаем хозяин ничего не слышал, отвечал невпопад, а иной раз не замечал, есть кто за столом или он в одиночестве. Вечером еще можно было с ним развести семейную беседу, а утром – гиблое дело и бессмыслица.

И все же нынче она не выдержала.

– Демьян Васильевич! – сказала она, для верности убирая его чашку. – Ты уж не серчай на меня, а я скажу!

– Угу! – сказал хозяин и, только не нашарив перед собой посуду, будто проснулся. – Где чай-то?

– погоди с чаем! Выслушай меня!

– Ну что? – сказал сам, равнодушно поглянув в окно и оживляясь, поскольку за окном во дворе происходило ежедневное Осипово утреннее учение. Справив домашние дела, казак «намахивал руку» – рубил шашкой лозу, которой приволакивал от реки целые возы.

Демьян Васильевич залюбовался, как Осип, стоя на деревянной колоде, рисует над головой и на все четыре стороны сверкающим клинком замысловатые восьмерки.

Вот он, потянувшись вверх, словно за улетающей в небо шашкой, выпрямился, неуловимым движением кисти изменил направление ее полета, и хищная сталь с коротким свистом отсекала половину тростинки, вставленной в расщеп кола. Рррраз – и тростинка слева ополовинилась, а отрубленная ее часть воткнулась тут же в песок.

Осип крутанул клинком над головой и, взяв линию полета чуть положе, стал отсекать с каждым ударом ровно по вершку.

– Эх! – восхищенно сказал хозяин. – Глянь, Домнушка, что делает! Что делает! Мастер!

Осип, срубив очередную порцию лозы, завертел шашку вокруг себя таким отчаянным «солнышком», что хозяин только крикнул:

– Вот така музыка! Эдак он к себе не токмо пику, муху не подпустит! Мастер!

– Демьян Васильевич! – строго сказала хозяйка, закрывая окно занавеской. – Я стенке, что ли, говорю?!

– Бог с тобой, Домнушка, – завиноватился хозяин. – Я слушаю тебя, слушаю... – И попытался достать отодвинутую чашку.

– Нет уж ты меня выслушай! – сказала хозяйка, отодвигая чашку еще дальше. – Я про Аграфену!

– А что про Аграфену? Дите схоронили, вся недолга – царство ему небесное... Хотя ведь некрещеный, так что и поминать нечего. Не осязаемый чувствами звук...

– С ней-то самой что делать?

– А что с ней делать? – скрутил бороду хозяин. – Умела кошка сметану съесть, умей кошка и трепку съесть...

– Да жалость ли есть у тебя? Она извелась вся, не ест, не пьет!

– Вольно же ей было хвост на сторону держать!

– Ох, Демьян Васильич! Не судите, да не судимы будете!

– Это ты к чему? – сломал бровь хозяин.

– Ладно уж, – зардевшись, сказала хозяйка, – не об том речь! А только Аграфену нужно пожалеть...

– А я не жалею? Другой бы – моментом домой, при такой-то аттестации.

– Да ты в уме ли! Голубь! Да ведь ее братья насмерть забьют!

– То-то и оно! – сказал хозяин, доставая-таки чашку. – Потому пусть живет у нас!

– Не через то ты ее домой не отсылаешь, что жалеешь, – сказала хозяйка, которая видела мысли своего мужа насквозь. – Боишься, как бы братья, прознав про такое дело, отары свои не побросали да сюды с ружьями не явились!

Сам хотел было вскипеть, но одумался и сказал спокойно:

– Боюсь! Истинно боюсь! Мне, мать моя, шум лишний не надобен. И отвечу тебе, как перед иконою, не слукавлю: дите, конечно, жаль, но в том, что он помер, вижу Господню любовь ко мне, многогрешному. – Он перекрестился и с жадностью принялся прихлебывать с блюда.

– Ну вот что! – решительно сказала хозяйка. – Смотри, Демьян! Как бы через твоё легкомыслие чего похуже не вышло! А я тебе так скажу:

ежели ее и дале твои приказчики дразнить будут, так я возьму Настю, Аграфену да и уеду от тебя на богомолье, и живи тут как знаешь!

– Кто Аграфену дразнит?! – наливаясь кровью и сжав кулак, тихо спросил хозяин.

– Ох! Ох!.. – засмеялась хозяйка. – Закипел. Грому-то! Словами-то, ясно, никто, а так посматривают да промеж себя подхихикивают!

– Ну уж на чужой роток не накинешь платок! – сказал, моментально остывая, сам.

– Я к тому, что нужно нам ее судьбу устроить! Она у нас сыздетства, мы за нее перед Богом в ответе. Надоть ее замуж скорейча!

Сам даже поперхнулся.

– Да ты в уме ли! Кто ж на ней теперя женится?

– На деньгах женится! – сказала хозяйка, принимаясь убирать со стола;

– Да ведь, женившись, он ее изведет!

– Дай в приданое поболее, вот и не изведет! Не скупись, об жизни человеческой речь идет... А пока надобно ее со двора долой! Чтобы твоя свора на нее глаз не паялила!

– Со двора-то со двора! – задумчиво пробормотал хозяин. – Это верно...

– Вот пускай с Осипом на мельницу прокатится! – подсказала Домна Платонна.

– И верно! – согласился хозяин. – Много ль у нас еще молоть?

– Поискать – найдется!

– Мааать... – проговорил хозяин задумчиво, поднимаясь и заглядывая поверх занавески во двор. – А ведь навроде она Осипу нравилась?

– Ты что удумал? – обомлела хозяйка. – Осипа не трогай! Не дам!

– погоди! Не голоси! – сказал сам, любуясь, как во дворе Осип упражняется с крестовиной. На одном конце крестовины, воткнутой во втулку положенного на землю колеса, была мишень, на другом – колодезные цепи. Осип бил в мишень пикой – крестовина поворачивалась, и казак молниеносно пригибался, чтобы не схлопотать цепями по спине.

– Он, видишь ли ты, на войну собрался... А чего он там, на войне, не видал? Убьют, да и вся недолга!

– Так ведь, может, войны еще не будет! – сказала, садясь на табуретку, хозяйка.

– Будет не будет, ему там делать нечего. Он для хозяйства гожий! Уж как-нибудь извернись... Тем боле что он последний в роду – атаманство в положение войдет! Главное его самого разговорить! А то ведь охотником уйдет!

– О Господи! – крестилась хозяйка.

– Так что женить – это первое дело. Укоренить при доме, значит!

– Да за что ж ему на Аграфене жениться? Он ведь вон какой парень достойный, нешто иных невест нет? Да ему такую партию составить можно...

– Эх мать... – сказал хозяин. – Не ведаешь ты его мозгов! Да ему сейчас хоть принцессу, он нос отворотит... Как втемяшил себе – пойду болгар спасать, так и пойдет ведь... Да и не имеется у нас принцессы-то под рукой!

– Так ведь он к Аграфене чувств не питает!

– А он и вообще ни к кому их не питает! Дите, пра слово! – сказал хозяин, отходя от окна и наливая себе еще чашку из остывшего самовара. – Вот тут нам Аграфена и надобна! На принцессу-то он ноль внимания, а ее – пожалеет! Ежели ему ради каких-то болгар неведомых головы не жалко, тут-то он уж пожалеет непременно! А где жалость – там и чувства явятся. Вот и можно, сор из избы не вынося, людям счастье изделать! Домна Платонна заплакала.

– Ох, Демьян! – сказала она, утираясь фартуком, который носила более по моде, чем по необходимости, – в доме-то было три стряпухи. – Ох, Демьян! Не по душе мне все это! Сказать не могу, вывел ты все разумно...

– Ну и вот, – пройдясь по крашеным, будто литым половицам, сказал хозяин, – сама посуды:

парня от войны сбережем! Бабу за такого красавца выдадим, кой ей и во сне не являлся. Средствами обеспечим, так что грех жаловаться!

– Так-то оно так, – не переставала плакать хозяйка. – Я умом все понимаю, а сердце кричит. Какой-то тут грех имеется, Демьян Васильич...

– Какой грех?! – сказал сам. – Наоборот – грех-то и прикроется!

– Ах, – сказала хозяйка, оправляя сбившуюся с тугого узла сидящих волос наколку. – Да за что ж Осипу, голубю чистому, в такой-то деготь...

– А ты хошь, чтоб этот деготь на твоих дочерей полился? А? – спросил, наклонясь к ней, муж. – Аль забыла – у нас ведь их трое! Окромь дочек, и на сыновей брызнет – не отмоешься!

– Да что ты такое говоришь-то? – испугалась хозяйка.

– Что говорю? А то, мать моя, грех-то в доме не удержишь! Непременно слухи поползут, да еще прибавят в сто раз: мол, дите – хозяйское либо хозяйского сына! А?

– Свят, свят, свят...

– Вот те и свят! Скореейча надоть ее замуж определять! – вздохнул хозяин. – Вот ведь задала задачу босамыка шатушая!

– Не виновата она! – сказала хозяйка. – Это беда, а не грех!

– Хоть сказала, кто подсобил? – спросил хозяин. – Кто меня в убыток ввел?

– Молчит!

– Вот то-то и но! – сказал хозяин. – Тут на любого подумать можно.

– Да что ты, Демьян Васильевич, да рази я на кого думаю?

– А что ж? – петухом заходил сам. – Хозяин еще в гроб не смотрит... Еще жалеть тебя будут!

– Да что ты!.. Разве я на тебя подумать могу?

– А зря! – сказал хозяин, надевая картуз по казачьей привычке на бровь, ногой открывая дверь и, подбоченясь, выкатываясь на высокое крыльцо.

К счастью, Домна Платонна, уж на что- была женщина ума пронзительного, не видала, какие черти пляшут у него в глазах от радости, что заморочил жену.

– Аграфена что! – пробормотал себе под нос хозяин. – Да и разговоры – тьфу! Собака лает, а телега едет! Мне вот Осипа бы при себе удержать... Осипа.

С высокого крыльца, или балкона, поскольку был это второй деревянный этаж дома, а с крыльцом его роднило только то, что вела к нему лестница прямо поверх первого каменного этажа, – сразу в широкие сени и парадное зало, потому и звалось это крыльцо на казачий лад – высокое гульбище, – отсюда хозяин видел и весь двор, и улицу за высоким забором, и Осипа, который на заднем хозяйственном дворе учил Никиту рубить шашкой.

Васятка, стоя на сарае, лил из узкогорлого кувшина тонкой струйкой воду, а Никита рубил ее шашкой, стараясь, чтобы не было брызг.

– Угол! Правильный угол ищи! – учил его Осип. – Ежели под правильным углом клинок идет – силы много не надо... Ррраз... Подвысь... Ррраз... Еще... Ррраз! Резче! Резче!

Никита, разгоряченный, забрызганный, рубил азартно, не обращая внимания на вопли Васятки, который корчился с тяжелым кувшином на руках.

– Эй вы! Эй вы! Зараз кувшин брошу! Я писать хочу!

– Ровней лей! Ровней! – кричал, встряхивая чубом, Никита.

– Ой, счас описаюсь! – вопил Васятка.

– Осип! – позвал сам.

– Ай! – откликнулся казак.

– Закладывай быков, с Аграфеной на мельницу поедешь!

– Батяня, можно я! – завопил Васятка, торопливо расстегивая штаны и облегчаясь прямо с крыши.

– Я вот тебе сейчас жигану крапивой... Ты чего выставился! – цыкнул на него с притворной строгостью хозяин.

– Так ведь не стерпишь! – ответил простодушный Васятка. – Можно я на мельницу?

– Нет! – отрезал Демьян Васильевич, опускаясь во двор и степенно шествуя к воротам.

Какое-то нехорошее, тревожное предчувствие шевельнулось у него в душе, когда проходил он мимо Осипа, тащившего к возу воловье ярмо. Словно и он, как говорила хозяйка, подводил этого славного парня под грех.

Отгоняя эти предчувствия, хозяин хлопнул Осипа по каменной спине, как хлопают любимого коня, и поймал в ответ ласковую, развеселую улыбку.

– Истинно Иванушка-дурачок! – вздохнул хозяин, садясь на дрожки и натягивая вожжи.

– Прими... – крикнул он зазевавшемуся конюху и бурей вылетел в распахнутые ворота.

2. Аграфена вышла на крыльцо, когда работники загрузили воз. Она стояла и молча смотрела, как мужики, надсаживаясь, закидывают тяжеленные тугие туши мешков, как перетягивают воз веревками. В прежнее время она непременно сунулась бы помогать, но теперь стояла недвижимо: закинув одну руку на высокий точеный столбик резного гульбища, а другой избоchenясь. Что-то вызывающее, нехорошее было в изгибе ее тонкой фигуры, в туго обтягивающей грудь кофточке и черной атласной юбке.

– Вона, – сказал рябой Вавила. – Вырядилась... Ох и наломаесси ты ноне, Осип. С нее будет тебе помощи как с козла молока...

– Не переломлюсь, – ответил Осип. – Ну поедем, что ли, – позвал он женщину.

Аграфена, прищутив лихорадочно поблескивающие глаза, выждала, пока он подойдет ближе, и, чуть приподняв юбку рукою с зажатым кружевным платочком, картинно, будто барышня, сошла с высоких ступенек. Осип невольно протянул ей руку, и она, ничуть не смутившись, оперлась на нее. Рука Аграфены была ледяной.

– Ну! – сказала она, сверкнув цыганскими серьгами. – Подавай экипаж, господин приказный!

– Есть! – Осип приложил ладонь к фуражке и поддержал ее игру, хоть не нравились ему этот игривый, вызывающий тон и развязная походка.

Он посадил женщину на облучок и, едва коснувшись ступицы, взлетел на воз.

– Ну, цоб цобе...

Волы потянули, тяжелая колымага качнулась.

– Похоже, всего седни не смолоть, – сказал Осип, чтобы что-то сказать. – Вона сколь навалили. И куды столько муки?

– Ну дак и заночуем, – бесовски улыбнувшись, ответила Аграфена. – Аль боисси со мной ночевать, Осип Ляксеев? Раскинем в степу шелков шатер. Ай? Боисси...

– Я только Бога боюсь, – резко ответил Осип.

Аграфена осеклась.

Обычно стоило Осипу выехать в степь, как у него сразу делалось хорошее настроение. Он без песни-то и ехать не мог – так широко распахивалась душа навстречу степному простору. Но сейчас казаку было не до песен.

«Чего она передо мной-то выламывается! – с горечью подумал он об Аграфене. – Добро бы я ферт какой был, а то ведь всем сердцем понимаю ее и сочувствую, а она вон как вавилоны выводит да куражится...»

– Другой вы стали, Осип Ляксеич, – прежним тихим голосом сказала Аграфена. – Повзрослели, вспротив прежнего...

«Как не повзрослеть! – усмехнулся про себя Осип. – В службу шел на двадцать первом году, а теперь вот скоро двадцать шесть стукнет».

– Прежде вы много трепетнее на жизнь глядели, – вела свое Аграфена.

– Это как же, значит, трепетнее? – переспросил Осип.

– Да бывалочи чуть что, так и скраснеетесь, так и вострепещете от радости ли, от грусти, а теперь много молчаливее стали.

– Служба шкуру задубила. Там, брат, вострепещешь – мигом по мордасам насуют...

– И вас били?

– Перепадало.

– Да за что же?

– Эх, Груня! – сказал Осип. – Служивого быют не за что, а потому что... Можно вдарить – вот и быют. Бывает, конечно, что за дело, но больше так – от низости! Хрясь-хрясь по мордасам, а ты стоишь, моргаешь... Пока сам не окрысишься! Ну а как в ответ зубы-то покажешь, так и отступятся... Стало быть, всё! Довели до крайности – дале опасно – ответ даст!

– И все же мужчинам не в пример как легче, – сказала, вздохнув, Аграфена.

– Кто это мерял, кому легче... У вас свое, у нас свое...

Они долго ехали под мерное поскрипывание воза. Теплый, влажный, по-осеннему ласковый ветер гладил их лица. И оттого, наверно, Осип успокоился. Давешнее раздражение его на Аграфену прошло.

– Так-то вот подумать, – сказал он. – Кругом благодать, а люди меж собой собачатся. Зачем? Живи да радуйся – нет, норовят дружка дружку пихать да неволить. На что?

– Потому одни слабее, а другие нахальнее... А то и злей! Злым хорошо. А слабым плохо. Кабы все по-другому, я бы злой стала!

– Ну и кому через то хуже было бы? – засмеялся Осип. – Ты, Грунь, пра слово, как дите: «Нехай моей бабке будет хуже, что у меня отмерзнут уши!»

– А бы всем доказала! Всем! – вдруг горячо заговорила Аграфена. – Бывалочи, как меня Домна-то Платонна по щекам, по щекам, за всяку погрешность, девчонку совсем. Приказчики щиплют, и ни от кого-то ласки нет... Вот уж я гнев-то копила...

– Ге... А я-то и не замечал, – сказал Осип.

– А много ль ты вообще кругом себя замечал! – засмеялась Аграфена. – Все книжечки почитывал да в небеса глядел... А я, бывало, все думаю: ну хоть бы кто пожалел! Может, хоть бы Осип глянул...

– Эх, односумка! – сказал Осип. – Этот голос мне знакомый... Эдак и я мыслями-то располагал... Что вот, мол, Господи, неужто на всем белом свете родной души не сыщется, неужто так никому желанным-то и не станешь... И таково это тоскливо делается... Я ведь, Груня, на службе-то в первый год чуть того... до греха чуть не дошел. Так, знашь, меня служба задавила: уж на что у Демьяна Васильича не забалуешься, а на службе много тяжелей. Все-то под команду, все-то под сигнал... И с утра до ночи как машина...

Осип перестал понукать волов, потому как тычь их погоничем не тычь, а быстрее они не пойдут...

– Ну и как же? – заинтересованно спросила Аграфена. Она скинула платок, и густые черные волосы двумя крылами свалились ей на щеки.

– Да глянул – другим-то много хуже моего. Одному помог, другому подсобил... Глядь, своего-то горя и не видно. У нас ведь были, котеры руки на себя накладывали. Особливо неженатые, у кого детишков нет...

– Вон, значит, как спасся, – задумчиво сказала женщина. – А я: день мой, час мой! Выказала слабину... Бог-то и наказал.

– Да брось ты, Грунь! Ты за слабину расплатилася. Я так располагаю, что боле на тебе греха нет.

– Эх, Осип Ляксеич... Добрая у тебя душа, – вздохнула казачка. – А как ты думать, еже один человек через другого погибает да на грех идет, тому тоже воздаяние следует...

– Это ты туманно говоришь, – почесал висок Осип. – Однако сказано в Писании: горе тому, через кого грех является...

– Это правильно! – сказала Аграфена, глядя куда-то перед собой, в одну ей виденную точку. – Бог-то, он правду видит!

– Брось ты, Грунь! – сказал Осип. – Молодая! Вон кака раскрасавица, я на службу уходил, ты как цеплок лядащий была, а счас вон кака роза образовалася, цветок лазоревый, пра слово... А тужишь...

– Цветок... – вздохнула Аграфена. – А кому теперь тот цветок нужен?

– Найдется и твоя судьба! – уверенно сказал Осип. – А грех-то мало что... Тут еще обмозговать надо, чей он, грех-то?

– А вот, сказать примерно, – улыбнулась озорно Аграфена. – Вот ты, Осип Ляксеев, женился б на мне... Ай?

– А как же! – засмеялся Осип. И в ту же минуту подумал, что не следовало бы смеяться... Что, может, наоборот, нужно было не на шутку сводить, а просто и серьезно объяснить.

– Ага! – сказала, вздохнув, Аграфена. – То-то и оно, что не женился бы! – Она вдруг сняла с головы казака фуражку и запустила тонкие хрупкие пальцы в его густые волосы. – А ведь ты меня целовал, Осенька! Ай не помнишь?

Осип ошарашенно молчал. Он действительно не помнил такого.

– Мы с гор катались, на розвальнях, вот ты меня и поцеловал. Первый, стало быть, в жизни моей разок!

«Убей Бог, не помню!» – смятенно подумал казак.

– Неуж забыл? – как-то жалобно-грустно спросила женщина.

– Чего про то вспоминать... – начал Осип.

– Забыл... – протянула Аграфена. – Вот ведь как... А я по ею пору помню... Не умеешь ты врать, господин приказной! Давай, что ли, песню сыграем, а то вовсе расстроимся! – решительно переменяла она тему. И низким бабыим голосом запела: – «Вспротив батина крылечка стоял тополь молодой...»

И Осип, радуясь такому окончанию разговора, перехватил мелодию, повел первым голосом: «Как я вспомню этот тополь – сердце рвется из груди!»

«И когда ж это я ее целовал? – думал он под переливы песни, украдкой поглядывая на раскрасневшуюся черноглазую красавицу Аграфену. – Навовсе бабочка от тоски извелась... Ничего. И это горе стерпится».

Но так ему стало жаль этой молодой жизни, что бредовая мысль явилась в его чубатую голову: «А не жениться ли на ней? Оба мы с ней как два клубка перекаати-поля, что несет по степи колючий зимний ветер. А вот прибил бы он нас друг к другу, может, мы бы и укоренились?»

Где было простодушному казаку подумать, что именно этого ожидал от него тароватый Демьян Васильевич. Именно такое развитие событий предвидел его многоопытный разум. Однако не все в жизни вершится по разуму.

3. На мельнице заметно убавилось помольщиков. Потому и Осипу пришлось сразу разгружаться и готовить мешки к подъему наверх, в засыпку. Он поднялся наверх и оттуда, с высоты третьего этажа, глянул на по-осеннему зазеленевшую степь, на голубые дали за мягкими отлогами холмов. Он увидел группу всадников и борзых, что неторопливо ехали по обочине дороги, ведя свивающихся в пружины поджарых породистых собак.

– Ктой-то? – спросил он мельника. Старик глянул из-под руки.

– Наверде Ястребовы, поехали зайцев травить... Ну точно, Ястребовы!

Охотники спустились к мельничному пруду. Кони жадно потянулись к воде. Кавалькаду нагнала коляска. Из нее достали вино, закуски, и нарядные офицеры с дамами в амазонках уселись вокруг расстеленной денщиками скатерти, уставленной снедью и разноцветными бутылками.

– Вона! – зло сказал рабочий, весь засыпанный мукой, с рогожным кулем на голове. – Притомились господа охотники! Беса-то тешить.

– Ихнее дело такое... – неопределенно ответил мельник.

– То-то и оно! – сплюнул в окошко работяга. Осип спустился за очередной вязкой мешков. Аграфена стояла, прислонившись к гудящей стене мельницы, и долгим, тягучим взглядом, которого прежде у нее Осип никогда не замечал, смотрела на противоположный берег пруда, где шумела компания и хлопали пробки.

– А что? – сказала она, не поворачивая головы. – А что, Осенька, ведь, я чаю, ты бы меня и полюбить мог!

– Может быть! – дрогнувшим голосом ответил казак. – Вот Демьян-то Васильич обрадовался бы...

– А ему что? – не понял Осип.

– Так вот не будет того! Не будет того вовеки! – сказала женщина. И вдруг сильной рукой обхватила Осипа и крепко поцеловала его в губы. – Еще и тебя погубить... Осип уронил фуражку.

– Грунь! – крикнул он вдогон женщине, что неспешно пошла за угол мельницы. – Ты куды?

– Эх ты! – засмеялась казачка. – На службе, что ль, «кудыкать» научился? Окацапился!

Осип смутился: по казачьим обычаям, было верхом неприличия и даже дурной приметой спрашивать, куда человек идет.

– Ссeditься... Подпирает меня...

И, волоча кружевной платок по траве, она пошла дальше.

Осип не сразу понял, что речь идет о молоке, которое теперь ребенку ненадобно.

«Вот ведь! – подумал он сокрушенно. – Дитя нет, а прокорм ему идет. Вот ведь как...»

Он взвалил на себя два мешка и поволок цеплять к зажиму. Потом еще два и еще два...

Сверху уже кричали:

– Ну чё валандаешься... Засыпка пустая! Подавай быстрее!

И он торопился, обливаясь потом и надсаживаясь, поднимал будто свинцом налитые пятерики, когда чей-то истошный крик: «Баба утопла!» – заставил его выронить веревку, которой он вязал горловины мешков.

– Аграфена! – не своим, диким голосом крикнул казак и метнулся к пруду.

Ее тело вытащили часа через два, стыдно зацепив баграми фасонную юбку.

Осип, не помня себя, прыгнул в воду и выволок тяжелое скользкое тело на прибрежную вытопанную траву

Откачивать утопленницу было бесполезно.

– Да как же она так... Пьяная, что ли? – гомонили в толпе зевак.

– Нет, братцы мои! – отвечали другие. – Она сама себе решение навела. Зашла вот тута с бережка да тихонько эдак и в омут... Мой мальчонка еще удивился, через чего она в воду одетая полезла...

Озабоченный дежурный деловито писал протокол. Помощник наметом поскакал в станицу за фельдшером. Красноносый фельдшер констатировал смерть. Тело завернули в холстину и повезли в станицу на реквизированной телеге на вскрытие. Осип, выпросив коня, погнал в Жулановку, за хозяином...

Глава пятая. Георгиевский монастырь 10 октября 1876 г

1. Теперь уж скандал разразился с грозовой силой. Слухи, которые тишком ползли по слободе, теперь разлились половодьем, наполнились подробностями и подмывали годами возводимый Демьяном Васильевичем авторитет. Перед домом Калмыкова целыми днями толпился народ. Наскоро посоветовавшись с Никодимом и Осипом, хозяин послал за Аграфениными братьями. Они явились на следующий день: чернобородые, пропахшие кизячным дымом и тяжким духом овечьего закута. Старший поднялся в дом для тяжелого разговора с хозяином, а трое остались в тачанке, и Осип понял: достаточно малой искры, подозрения, как пойдет стрельба и польется кровь.

Потому без спросу поднялся он в кабинет Демьяна Васильевича, где бледный хозяин, разводя руками, что-то пытался разъяснить чугунно молчащему черному степняку.

Осип, то ли от волнения, то ли оттого, что Калмыков и сам толком ничего объяснить не мог, ничего не понял в его сбивчивой взволнованной речи. И, понимая, что степняк не верит ни единому хозяйскому слову, тронул его за рукав.

– Зови братьев!

– А ты кто таков? – лютым шепотом спросил его старший Аграфенин брат.

Осип выдержал его бешеный взгляд и повторил:

– Зови!

Брат, словно бы в бреду, искал глазами окно. Демьян Васильевич кинулся открывать форточку.

– Хлопцы! – крикнул старший. – Ходи сюды.

– Как итить? – спросил, не поднимаясь, один из братьев.

И тогда Осип оттолкнул старшего и твердо приказал:

– Миром идите! Здесь беда общая! Степняки, сбросив бурки, громко топоча сапогами, вошли в кабинет и заполнили его весь своими широкоплечими фигурами. Осип увидел трясущееся лицо Калмыкова и, откашлявшись, сказал:

– Судите – воля ваша! Не сберегли Аграфену! Но греха на сем доме и живущих в нем нет!

Медленно, понимая, что слова его не сразу доходят в эти кудлатые головы, наполненные гулом горя, он рассказал, как жила Аграфена, не приукрашивая, поскольку любое неверное слово сразу породило бы в них недоверие, описал ее труды, ее одиночество и ее долю.

– Каково одному в миру жить, я очень даже хорошо понимаю! – сказал он с дрожью в голосе. – Тут мы с покойницей одной доли... Но то судьба, а не умысел хозяйский! Демьян Васильич – нам не просто старший, а отец родной! И грешить на него – грешить против. Господа!

И только тут старший из братьев глянул на Оси-па без ненависти.

– Растолкуй ты нам, как же это? – спросил он вдруг жалостным голосом. – Мать поми-рала, наказывала сестру хранить... А что мы в степи... Вот мы ее в люди... В хорошую семью! ан вон как обернулось...

Не скрывая ничего из того, что было известно ему самому, Осип рассказал и про ребенка, и про последний разговор с погибшей.

Старший брат качался из стороны в сторону, схватив руками голову, и черная тень его металась по стене, к которой, прижавшись спинами, неподвижно сидели потрясенные братья!

– Через то ребенок умер, что родился до срока! – сказал Осип.

– Кака нам разница! Господи... – простонал Аграфенин брат.

– Есть таковая! – сказал Осип. – Ну-ка отсчитай шесть с половиной месяцев да прикинь, где об ту пору Аграфена была?

– У нас... – прошептал один из братьев. – Слышь, Ерема!

– Ну, парень, это уж ты хватил, – подымаясь во весь рост, с каким-то облегчением сказал старший. – У нас-то она при глазах была. Она у нас, чай, не в лесу дремучем, в семьях жила... Я те вот что скажу, мил человек... Загубили девку...

– Стый, Еремей! – сказал вдруг один из братьев. – Стый! А на кордон-то ездили... Она с нами выпросилась. Неделю ведь с нами в степи жила. Весь курень как стеклышко вымыла.

– Ну дак что? Ведь при нас жила.

– А попомни-ка хорошенько, Еремей... – сказал все тот же брат.

– Господи! – ахнул старший и, припоминая то время, рванул, сыпанув пуговками, ворот.

– А воротились через два дни... – безжалостно выговаривал один из братьев. – Овса-то нет? Спомни! Куды овес делся? Так-то уж сестре радовались, в разум тогда нам не вошло...

Словно надломившись, примолкли братья, уронили чубатые головы. Демьян Васильевич трясущейся рукой крестил под столом живот.

– Иде она проживала?

Грохоча сапогами, прошли братья в Аграфенину каморку по гулкому, застывшему в тишине и словно бы пустому дому. Стали в двери, плотно сбившись плечами.

Осип заглянул через их плечи в чистенькое убогое жилье, где всего и стояла узкая кровать да комод. Он видел, как из-за комода выглядывает крошечный детский сапожок.

– Вот он где! – прошептал казак невольно. – Сыскался.

– Что? – повернувшись к нему, по-волчьи спросил старший.

– Вон... – указал глазами Осип. – Я на зубок дарил. Когда малютку обряжали, сыскать не могли...

Старший брат неуклюже присел. Выскреб огромным коричневым пальцем крохотную вещичку, зажал в кулаке.

– Ступайте все! – приказал он. Мужчины покорно оставили его одного. И неслышно притворили дверь.

Он вышел через час. Словно бы сразу состарившись на десяток лет. Кинул в тачанку узел с Аграфениным приданым.

– Где схоронили-то?

Демьян Васильевич затоптал, засуетился. Зачем-то вскочил в тачанку вместе с Осипом. И они поехали в сторону погоста.

– Вот, – сказал Калмыков, торопливо передавая старшему брату тряпицу. – Тут деньги ее, что на сохранении у меня были, и последнее жалованье...

– В церковь поминать отдайте, – не оборачиваясь, сказал брат.

Осип тронул его за обмякшее плечо:

– Нельзя поминать-то... Не станет священник служить.

– Как это не станет! – высоким голосом выкрикнул старший. – Под ружьем небось станет...

– Бога ружьем не напугаешь! – твердо сказал Осип. – Еще грех умножать будете?

– Да как жа?... – по-младенчески затряс подбородком уже совсем не страшный, а беспомощный старший брат – второй отец.

– Хлопотать буду? – пообещал Осип. – До митрополита дойду! Нет ее вины! Сердцем чувствую, нет!

– Порадей, голубчик... – попросил старший. – Что ж это ей и на белом свете судьбы не было, и там в геенне огненной гореть?

– Обещаю!

За погостом, в степи они отыскивали уже оплавленный дождями холмик. Собрали сухой травы, брызнули сверху дегтем, запалили огонь. Старший брат принес узел с вещами и торопливо покидал их в пламя.

Огонь пыхнул и поглотил материю, еще хранившую тепло, запах и соль слез несчастной Аграфены.

Засапожными ножами братья срезали по пряди волос и кинули в огонь. Красный язык пламени взвился и погас на стынувшем невесомом пепле.

Один из братьев было начал: «Со святыми упокой...» – но на первом же слове осекся.

Братья кинулись друг к другу, стукнулись лбами и, сцепившись в единый клубок, застыли над костром. Только стон-всхлип иногда раздавался, но неизвестно, кому из четырех он принадлежал. Осип не мигая смотрел на них, не в силах оторвать взгляд от чужой муки. Ослабевшие, обмякшие, братья повалились в тачанку.

– Осип, – позвал старший. – Ты ведь Осип? Я сразу тебя признал. Аграфена нам про тебя сказывала... – Он достал из-за пазухи смятый комочек и вложил его в руку казака.

– Дай тебе Бог счастья... – Он обнял Осипа, ткнулся холодными губами в его плечо.

Братья поклонились Демьяну Васильевичу. И со стоном и грохотом погнали тачанку в степь...

– Слава тебе Господи! Пронесло, – бормотал Калмыков. – У меня душа обмерла. В тачанке-то ружья. Ох, Осип, Осип... Не зря, значит, я тебя на руках носил... Отвел ты ноне погибель от моей головы. Ох, Осип, Осип...

Осип разжал кулак и увидел смятый невесомый сапожок.

2. Верный слову Зеленов собрался к митрополиту. Напрасно отговаривал его Демьян Васильевич, доказывая, что церковные власти никогда не разрешат отпевать самоубийцу, напрасно объяснял, что Осипа к митрополиту просто не допустят. Казак, набывчившись, молчал, уставив неподвижный взгляд своих синих глаз куда-то мимо лица Калмыкова. Наконец хозяин плюнул и согласился его отпустить! Единственное, в чем удалось ему убедить упрямого приемыша, что ехать к митрополиту, не заручившись поддержкой какого-нибудь влиятельного церковного лица, – бесполезно.

Кряхтя и поругиваясь в бороду, Демьян Васильевич написал письмо к настоятелю Георгиевского монастыря.

– В собственные руки! – наставлял он казака, заклеивая конверт и глядя, как тот зашивает его в подкладку пиджака. – И чтобы, кроме адресата, ни одна душа про то, что в нем писано, не ведала.

– Мене чем с головой – письма не отдам! – пообещал казак.

– Ииих! – ткнул его в лоб перстами хозяин. – Голова-то хороша, да дураку досталась!

– Коли так, ехали б сами! – без улыбки на хозяйскую ласку ответил казак.

– Ох надо бы, надо бы повидать настоятеля! – непритворно вздохнул Калмыков. – Сколь годов не видались. Да грехи не пускают – вишь, что кругом творится. Не знаешь, что найдешь, что потеряешь... Ноне можно и миллион за год нажить, и с сумой пойти...

С Осипом поехал и Никита, которого отпустили, почитая за благо спровадить из слободы подальше, пока не утихнут сплетни, справедливо полагая, что с Осипом Никита не забалуется. Калмыков самолично купил им билеты первого класса на пароход. Придирчиво осмотрел их новые тесные сюртуки и непривычные брюки со штрипками и остался доволен.

– Барчуки.

Демьян Васильевич провожал их до того, как убрали сходни, посмотрел, как они прошли на верхнюю палубу, уселись за столик и услужливый вертлявый официант тут же раскупорил для них бутылку с лимонадом, – прохладительные напитки входили в стоимость билета.

Он помахал на прощание картузом, и Осип с Никитой долго видели его пылящие по степному тракту дрожки.

Пароход «Есаул» совершал регулярные рейсы по всему Дону от Азовского моря почти до верховьев, хотя там плавать ему было уже и рискованно из-за илистого мелководья.

Пароходом в относительной прохладе и комфорте предпочитала ездить чистая публика. И Осип с Никитой поначалу робели, сидя за столиком на палубе и аккуратно прихлебывая шипучий лимонад.

Но народ на палубе, несмотря на свое относительно высокое положение, был южный – громогласный: разговоры грохотали по всей палубе и были, как правило, общими. Во всяком случае, любого, пусть даже совершенно незнакомого человека, выслушивали со вниманием.

Поскольку по берегам – высокому в проплешинах меловых откосов правому и топкому, поросшему ивняком левому – тянулись хутора и станицы, а на деревянных пристанях неизменно преобладал бронзоволицый, загорелый до сизого отлива чубатый народ в широких лампасах, разговоры, естественно, шли на казачьи темы...

Особенно ораторствовал пышнотелый, потеющий помощник прокурора в чесучовом белом пиджаке и соломенной широкополой шляпе.

– Казаки! – говорил он, промокая лоб широким клетчатым платком. – Я не знаю людей большей косности... Это полнейшая отсталость во всем, беспечность какая-то солдатская, невежество... – Он наливал себе пива из запотевшей бутылки и, звучно обсасывая алую рачью клешню, продолжал: – Помилуйте, казак даже садов не разводит, а садит только виноград! Спросите его, почему он не садит фруктовых деревьев? Он вам скажет:

«Да-а, ведь за ними ходить надо!» Насмотрелся я на этих господ! Третий год здесь живу, слава Богу! По своему положению я знаком коротко с видами и количеством преступлений казаков. Кража – вот альфа и омега казацкого существования. Он пройти нигде не может, чтобы не стянуть что-нибудь... Вы знаете, почему их не допускают служить на железные дороги? Крадут! Его даже близко нельзя подпускать к дороге: или винт какой стянет, или рельс отворотит... Да что такое, в сущности, казак? – говорил он, махая пухлой рукой с пузатым обручальным кольцом на своих собеседников: учителя и широкоплечего казака в офицерской фуражке, с длинным шрамом через всю левую щеку. Шрам был недавний, красный. – Казак, – разглагольствовал судейский, – это своего рода рантье! У него от двадцати до тридцати десятин земли, он привезет рабочих на свое поле, наварит им каши – только его и обязанностей. А сам он ничего, в сущности, не делает... Воинская повинность? Так нынче все отбывают воинскую повинность! Не одни казаки!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.